

Александр Осипович.

ПОСЛЕ МУЗЫКИ.

Александр Осипович.

ПОСЛЕ МУЗЫКИ.

Питтсбург 1991.

Copyright by author, 1991.

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

Содержание.

Об истоках музыки.	7
Вокруг Достоевского.	16
Бесы.	41
После музыки.	53
По ту сторону стиха.	60
Русский эрос.	64
О «Шуме времени».	77
Будетлянин.	85
Вожди и литература.	.100
От нигилизма к «негилизму».	107
Заживо похороненный.	.111
Смерть Александра Блока.	114
Преданное солнце.	117
Перед молчанием.	123
Примечания.	129

Книга большей частью состоит из заново отредактированных статей, написанных в начале 80-х годов и напечатанных в русской зарубежной прессе.

*«..если и музыка нас оставит,
что будет тогда с нашим миром?»*

Н.В. Гоголь.

ОБ ИСТОКАХ МУЗЫКИ.

В 1831 году Гоголь создал похвалу искусству, в равной мере соединившую восторженность и печаль. В движении от скульптуры к живописи, от живописи к музыке угадывается мысль о растущей бесплотности искусства, о том, что это и есть путь, по которому оно уходит от нас. В сменяющейся чреде искусств Гоголь видел часть замысла Творца о мире:

«Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своей глубокой мудростью... Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую стыдливую красоту и весь древний мир обратился в фимиам красоте... Векам беспокойным и темным... дал он вдохновенную живопись... Но в наш юный и дряхлый век ниспослал могущественную музыку стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?»

Вопрос Гоголя задан полтора века назад и пытаться

ответить на него можно, исследуя ход истории культуры в минувшее время. Но историк, этот «пророк, обращенный в прошлое», возможно подсказал бы нам другой путь и отыскал в культуре исчезнувшей цивилизации предвосхищение ответа на вопрос Гоголя. В древнем китайском трактате Люй Бувэя, в главе о музыке весен и осеней, соединены мистика и социология, ответ связывается с путями, по которым пойдет общество.

«Истоки музыки далеко в прошлом. Она возникает из меры и имеет корнем Великое единство. Великое единство родит два полюса, два полюса родят силу темного и светлого...

Когда желания и страсти не идут неверными путями, тогда музыка поддается усовершенствованию. У совершенной музыки есть свое основание. Она возникает из равновесия. Равновесие возникает из правильного, правильное возникает из смысла мира...

Гибнущие государства и созревшие для гибели люди тоже, правда, не лишены музыки, но их музыка не радостна. Поэтому: чем бурнее музыка, тем грустнее становятся люди, тем больше опасность для страны...

Если музыка не радостна, народ ропщет, и жизни причиняется вред. Все это получается от того, что пренебрегают сутью музыки и стремятся к бурным звучаниям.

Поэтому музыка благоустроенного века спокойна и радостна. Музыка беспокойного века взволнованна и яростна, а правление ошибочно.»

Трактат невольно наводит на мысли о нашем времени. Жуткая судьба общества, а современная музыка... Не различит ли в ней христианское сознание топот приближающихся коней Апокалипсиса?

Принимая то, что сказал Люй Бувэй о переплетении сущего и музыки, мы должны признать, что, говоря об обществе, рассказываем о музыке, и наоборот.

Вспомним сначала «почву» и голос ее. В русском народном сознании Апокалипсису, концу времен, должно было предшествовать пришествие Антихриста, и в легендах о нем сказалось предчувствие той невероятной катастрофы, которую будет означать отказ от христианских ценностей. Во всех преданиях Антихрист, придя в мир, начинает с соблазна материального. Так поступает он и в легенде, записанной Глебом Успенским. Антихрист в личине повара, поначалу творящего бедным людям добрые дела. Обаяние его становится так велико, что, несмотря на обнаруженные случайно когти на руках, он со временем становится правителем и уж тогда-то начинает мстить за то, что не удалось скрыть свои когти.

..тотчас после того, как сделается главою, издаст повеление смотреть у всех руки. Вы, мол, меня осрамили с моими когтями.. вы тайность мою раскрыли, так и я вам также... И вот начнут у всех осматривать руки и у кого руки эти окажутся чистыми, нежными, без мозолей, тем будет очень худо. Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки гибнуть... А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую Антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению Антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков...

Ясное народное видение того, что принесут с собой антихристианские перемены, никак не было воспринято интеллигенцией и нужна была революция, чтобы интеллигент по-другому прочитал строки из пророчества Ефрема Сирина:

«...земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все, живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад... Все последователи Антихриста будут носить на себе печать зверя: только в этом случае им можно будет покупать себе пищу и все потребное.»

Оглядываясь назад, можно рассмотреть ступени, по которым Антихрист приходит в мир. Ему открывает путь богохульство, и у части интеллигенции есть позорная история его. От того, что сказал о Христе Белинский, до того, что в 1919 году написал Анатолий Мариенгоф:

«Святость хлебом свистящей нагайкой и хилое тело Христа на дыбе вздыбливаем в Чрезвычайке. Что же, что же, прощай нам грешным, спасай, как на Голгофе разбойника, кровь твою, кровь бешено выплескиваем как воду из рукомойника!»

Справедливости ради следует вспомнить, что и в народе была пословица, тешащая Антихриста. Эту пословицу об иконе привел со вкусом Белинский в письме к Гоголю: «Годится молиться, не годится горшки покрывать.»

На следующей ступени происходит потеря вкуса, что уже имеет прямое отношение к порче музыки. Вдумаемся в факты, которые могут показаться разрозненными.

Изданные в 1863 году стихи Фета, о котором Чайковский писал, что он напоминает ему Бетховена, не разошлись до смерти автора, последовавшей в 1892 году.

Пародийное стихотворение из «Бесов», повествующее о том, как студент

«пошел вещать народу
братство, равенство, свободу»

призывая

«предать навеки мщенью
церкви, браки и семейство
мира старого злодейство»

всерьез использовалось для революционной пропаганды.

В романе «Что делать?» есть описание грядущего веселья, наступившего, надо полагать, после победы революции. Почти никто не заметил, что на самом деле снится Вере Павловне, когда счастливая публика танцует в зале и почти половина исчезает на время за закрытыми дверями. Впрочем, заметил Герцен, правда, с неожиданным выводом: «Чернышевский оканчивает фаланстером, борделью смело.»

Итак, вкус утерян, а богохульство произнесено. Следующую ступень первым различил Достоевский. Это было наступающее разделение между людьми. Встретив его на интеллектуальном верху, Достоевский дал разделению проекцию в будущее и в массы. Вспомним еще один сон из русской литературы.

«Ему (Раскольникову А.О.) грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали неколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшестввовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми

армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат, созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться: остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но готчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались.»

Прошло не так уж много времени, когда в русской поэзии появилось свидетельство в пользу того, что предсказание Достоевского о нарастании вражды и розни между людьми начинает сбываться. Несколько странно читать у рафинированного Блока в его неоконченной поэме «Возмездие» такие строчки о 90-х годах:

«И встретившись лицом с прохожим
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

Со временем рознь оформляется приходит партийное разделение и, оказывается, до октября семнадцатого года из этого можно было извлечь юмористический эффект:

Он был с.-д., она с.-р.
Они друг друга свыше мер
Любили.
Но был к.-д. его отец,
Но был с.-с. ее отец,

Они сердец их под венец
Не допустили.

Но вернемся в годы, последовавшие за смертью Достоевского. Наступила болезненная тишина. «Существа микроскопические» уже проникли вверх общества, но еще не тронули народ, и Владимир Соловьев с гордостью пишет Льву Толстому, что во всей России нашелся только один палач и его приходится возить из города в город для свершения казней.

Однако времена уже стоят печальные, если приходится писать «Оправдание добра». Казалось бы, добро меньше, чем что-либо, нуждается в оправдании, но создается «Антихрист» Ницше; в первой части трилогии Мережковского «Христос и Антихрист», носящей название «Смерть богов», симпатии автора, считающего себя христианином, явно отданы Антихристу. Тьма, идущая от князя ее, застит глаза и позже, ночью, впереди двенадцати красногвардейцев, Блок увидит Антихриста, принятого им за Христа.

Внутреннему помрачению, охватившему верхи, сопутствуют более внешние процессы. Начинает нарастать социальное изгойство. «Лишние люди» перестают быть относительно безобидными. «Лишний человек», благородство которого и в прошлом носило несколько нечеловеческий характер, становится революционером, преодолевая свою отверженность через признание лишним не себя, а общества. При этом он несет родовые признаки своего типа, и слова мудрого цыгана, обращенные к Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли», могут быть с полным правом отнесены ко многим революционерам.

К верному замечанию о том, что «лишние» несут фамилии, за которыми стоят названия русских рек, следует добавить, что Печора полноводнее Онеги, Волга (Волгин псевдоним Плеханова) полноводнее Печоры, а Лена (Ленин) полноводнее

Волги. Наконец и внизу общества появляются буйные лишние люди босяки, увиденные Горьким. На этой ступени происходит самое страшное по своим последствиям «новые трихины» проникают в народ. Это наименее понятая стадия. Единственная книга, полностью посвященная ей, написана Иваном Родионовым. «Наше преступление» нельзя читать без содрогания. Книгу эту в свое время оценили по достоинству: автор был назван «врагом народа» еще до революции. Есть что-то жуткое в том, что, не осознавая этого, мы обычно говорим о народе, как о покойнике: или хорошо, или ничего.

В начале века разделение, может быть, ни в чем не сказалось так ясно, как во взглядах на культуру. Можно было бы признать естественной эту разницу, если бы она касалась соперничающих идеологий, но она в разительной степени существовала в поэзии, призванных к которой, при всей их несхожести, должен объединять некий пietet к культуре. Мы находим его у Мандельштама, сказавшего, что «акмеизм - это тоска по мировой культуре». О том, какого рода тоску испытывал левый лагерь, читаем у Маяковского:

«..футуристы
прошлое разгромили
пустив по ветру культуришки конфетти»

К семнадцатому году все ступени, ведущие зверя из бездны в мир, были приуготовлены, и он появился, для начала поиграв в литературу и воплотив сон Раскольникова в явь. Со временем ему надоела анархия и, установив новые, антихристовы понятия о добре и зле, он принялся править, меняя личности.

Демон, одолевший нас, много коварнее прежних, являвшихся в прошлые времена. «Слушайся духа музыки, Сократ», сказал ему его демон. «Слушайте музыку

революции», — сказал одержимый демоном Блок, как будто в разрушении есть музыка. Когда грохот кончился, поэт очнулся в безмолвии, в котором навсегда отзвучала музыка.

Блок сказал об этом, когда уже начиналась гражданская война.

ВОКРУГ ДОСТОЕВСКОГО.

Все начала слухов, ставших легендами, о личности и характере Достоевского кроются во взаимоотношениях литераторов, в том, как Достоевский, по его слову, «завел процесс со всей литературой»¹ Сложность работы над этой темой в невозможности документированного опровержения некоторых околολитературных сплетен, отчего и встает вопрос «кому же верить?» Личность писателя и некоторые особенности людей из его окружения становятся косвенным ответом.

Нам придется собрать все главное, что знаем мы о Достоевском, чтобы вера в авторитеты не сыграла с нами злую шутку. Приведем пример, во что пришлось бы верить, если бы таким авторитетом стал для нас Иван Сергеевич Тургенев, который в 1882 году написал Салтыкову: «...прочел я также статью Михайловского о Достоевском. («Жестокий талант» А.О.) Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было сходное явление, а именно пресловутый маркиз де Сад.

Этот даже книгу написал «*Tourments et supplices*», в которой он с особенным наслаждением настаивал на развратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук и страданий. Достоевский тоже в одном из романов тщательно описывает удовольствие одного любителя... И как подумаешь, что по этом нашем де Саде все российские архиереи совершали панихиды и даже проповеди читали о вселюбви этого всечеловека. Поистине в странное время мы живем!»²

Отметив, что этот документ появился через год после смерти Достоевского, обратимся к периоду жизни Федора Михайловича, от которого не дошло ничего дурного о нем. Это начало его жизни до знакомства с кружком писателей.

ЛИЧНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО.

Детство Достоевского прошло в Москве, при Мариинской больнице для бедных, что при церкви Петра и Павла, где с людскими страданиями он познакомился рано. Несчастлива была его мать, всю жизнь страдавшая от деспотического характера отца. Она умерла, когда Федору было только пятнадцать лет. После смерти матери отец опустил, вскоре его убили собственные крепостные. По семейным преданиям, когда весть о смерти отца дошла до Достоевского, с ним случился первый тяжелый припадок с конвульсиями и потерей сознания, лишь гораздо позже определенный врачами как эпилепсия.

Того, кого Тургенев назовет де Садом, уже в раннем детстве потрясла книга Иова, и не вкус к чужим страданиям, а сострадательность почти болезненную развили первые впечатления жизни. Вот одно из свидетельств: «Как-то на одном из светских приемов зашел спор: «Какой по вашему мнению самый большой грех на земле?» Дошла очередь отвечать Достоевскому. Он помолчал, как будто сомневаясь,

стоит ли ему говорить. Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли.. и он заговорил... Достоевский рассказал эпизод из своего детства, рассказал о своей дружбе с девочкой лет девяти, дочкой кучера или повара, своей сверстницей тогда... И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может.»³

Тяжелые впечатления, оставаясь пронзительно ясными всю жизнь, вначале ни в чем не выражались внешне. Товарищи по Инженерному училищу считали Достоевского «невозмутимым и спокойным по природе», а за религиозность он получил прозвище «монах Фотий».⁴ Когда его пытались вызвать на откровенность, он часто отвечал словами Монтескье: «Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели.»⁵ Став писателем, он уже не мог следовать этой осторожной мудрости и «творческий дух Достоевского, доступный горным высотам, заглядывался иногда в какую-то преисподнюю.»⁶ Ранняя, большая и романтическая по выбору книг начитанность сделала Достоевского мечтателем и во многом противопоставила «живой жизни», хотя, как мы знаем, совсем не лишила его наблюдения остроты.

Достоевского отличала способность к романтической дружбе, но друга ему найти было нелегко. «И в юности он не мог мириться с обычаями и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне нескольких человек, искренне ему сочувствующих, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любящий уединение.. Не

нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в друзьях выдающиеся душевные качества, например, их сострадание к бедным, слабым и беззащитным, которое у Достоевского и Пережовского проявлялось... когда они видели грубое обращение товарищей со служителями и.. только что поступившими в училище...»⁷

Достоевский не слишком уважал Петрашевского, однако это мнение он мог доверить только другу⁸, а в показаниях на следствии он запишет, что «всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного».⁹ Некоторые слова показаний Достоевского были прямым вызовом следствию: «Если же желать лучшего есть либерализм, то в этом смысле он, может быть, вольнодумец, точно так же как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству потому, что находит в себе и любовь к отечеству, и сознание, что ничем не повредил ему.»¹⁰

Исследование поведения Достоевского на следствии показало, что он стремился везде, где только возможно, отвести подозрения от других обвиняемых или облегчить их вину.¹¹ О следствии дошел в записи рассказ самого Достоевского

том, как генерал «Ростовцев обратился к нему со словами: «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший «Бедные люди», был заодно с этими порочными людьми. Это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело.» «Я, вспоминал Федор Михайлович, молчал. Тогда Дубельт с улыбкой заметил: «Я ведь вам говорил.» Тогда Ростовцев, вскричав: «Я не могу больше видеть Достоевского», выбежал в другую комнату и заперся на ключ, а потом оттуда прашивал: «Вышел ли Достоевский? Скажите мне, когда он выйдет, я не могу его видеть.»¹²

О Достоевском генерал Ростовцев записал: «Умный, независимый, хитрый, упрямый.»¹³

Восемь месяцев провел Достоевский в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Вначале ему не была разрешена даже передача книг. Многие из петрашевцев не выдерживали. Григорьев и Катенев сошли с ума, Ястржембский пытался покончить с собой. После приговора Достоевский писал брату: «Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть дошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть вот в чем жизнь, в чем задача ее.»¹⁴

Самые нежные письма Федора Михайловича писаны брату Михаилу. Когда Достоевский попал на каторгу, то от брата, слегка задетого процессом, он почти не получал ни писем, ни денег хотя у брата, тогда табачного фабриканта, дела шли успешно. В 1856 году, после каторги, Достоевский позволил себе единственную жалобу в письме к А.Е. Врангелю:

«Как вы нашли моего брата? В каких он мыслях обо мне?... Он плакал, прощаясь со мною. Не охладел ли ко мне! Не изменил ли характера! Как грустно было бы мне это! Не обратился ли весь в наживу денег и забыл все старое? Не верится мне как-то этому. Но опять: чем же объяснить, что он не пишет иногда по семь по восемь месяцев, пишет Бог знает что, даже в бесцензурном письме с Хоментовским не отвечал ничего на мои вопросы, и так мало я вижу прежнего, душевного! Никогда не забуду, что он сказал Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня: «Что мне лучше оставаться в Сибири.» В декабре.. я просил денег... Вы знаете, как я нуждался! Что ж, ни слуху ни духу. Я понимаю, что он может их не иметь, ибо он торгует, но в крайних случаях

спасают человека.»¹⁵

Позже, после смерти разорившегося брата, Достоевский принял на себя его очень значительные долги и заботился о его семействе, от которого ничего не дождался, кроме попреков.

О необыкновенной доброте Достоевского осталось много свидетельств. «Когда вспомнишь то, что плату за труд Федор Михайлович получал постоянно хорошую, что жизнь он вел, в особенности когда был холостым, чрезвычайно скромную и без претензий, то невольно задаешься вопросом, куда же он девал деньги? На этот вопрос я могу отвечать положительно верно, так как в этом отношении Федор Михайлович был со мною откровеннее, чем с кем-либо: он все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его; иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги, как у добряка безграничного.»¹⁶

В записи Елены Андреевны Штакеншнейдер сохранился рассказ жены Достоевского Анны Григорьевны: «Вот получим, - всхлипывая говорила она, от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за «Карамазовых», и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает. Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но ведь он и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей.»¹⁷

Раз, за два года до смерти, в Петербурге, на Николаевской улице какой-то пьяный ударил Достоевского с такой силой, что он упал и разбил лицо в кровь. Тут же случился городской, и пьяного повели в участок. Федор Михайлович просил отпустить обидчика, но дело дошло до суда. На

разбирательстве ответчик, оказавшийся крестьянином Федором Андреевым, объяснял, что был «зело выпимши и только слегка дотронулся до этого «барина», который от этого и с ног свалился.» Достоевский опять просил простить и когда обвиняемого все же приговорили к штрафу в 16 рублей, подождал наказанного у подъезда суда и вручил ему 16 рублей.¹⁹

Зададим вопрос: «Кто из героев Достоевского похож на автора?» На наш взгляд, ответ искать недолго. Есть герои, свадьба которого заставляет вспомнить первую женитьбу Достоевского.¹⁹ Этому герою он отдал свою болезнь и вложил в уста свои переживания приговоренного к смертной казни. Это князь Лев Мышкин, которому в романе принадлежит и такая фраза: «я еще недавно в острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться.»²⁰ Опыт зрелого Достоевского переносится на юного князя, сущность личности которого во многом совпадает с автором.

Свою способность угадывать людей и события Достоевский помимо князя отдает и другому лицу романа Настасье Филипповне, с которой утверждается таинственное и близкое родство Льва Мышкина: «Я ваши глаза точно где-то видел.. да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда не был. Может быть, во сне... В той Настасье Филипповне, которую мы знаем на протяжении всего романа, сходства с князем нет, но вот что говорится о ней до того, как ей нанесли смертельную обиду: «это был совсем не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное...»²²

До трагического столкновения с людьми характеры князя Мышкина, Настасьи Филипповны и творца их, Достоевского, обнаруживали и наивность и глубину, раскрывающуюся лишь при случае. Характеры их мягки и сильны, как предугазано в

сочетании «Лев Мышкин», но каждый из них не выдерживает по-своему.

Настасье Филипповне хватило одной обиды, чтобы потом, до конца своего, бешеными поступками доказывать, что она не то, за что ее принимают (способность к бешеным поступкам чувствовал в себе и Достоевский: «всю жизнь за черту переходил»).

Князя Мышкина на протяжении всего романа окружает хоровод каких-то безнадежно вывихнутых людей, доводящих его своим низким и мелким безумием до полного помешательства. Князь сходит с ума, как бы в упрек всем остальным, будто доказывая, что для того, чтобы стать душевнобольным, нужно иметь душу. (Возможность сумасшествия всю жизнь стояла и перед Достоевским. Прообраз его был в потере памяти после припадков, когда Федор Михайлович, не узнавая знакомых, наживал врагов, когда забывал то, что сам написал.)

Третьим в столкновении с людьми был сам Достоевский. На его долю, кроме врагов и болезни, выпала и каторга, но он не совершил бешеных поступков, хотя порой бывал резок, он не сошел с ума, хотя всю жизнь проходил рядом со смертью и помешательством. Достоевский стал раздражительным. Это единственный из его недостатков,²³ от которого могли пострадать другие, в остальном они страдали скорее от его достоинств, измеренные масштабом личности Достоевского.

И.С. ТУРГЕНЕВ.

В 1846 году Достоевский познакомился с Тургеневым и тут же написал о нем брату: «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец, характер неистовшимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе.»²⁴

Знакомство состоялось во время огромного успеха, выпавшего на долю «Бедных людей», когда все хотели видеть автора, в частном письме которого читаем: «Я познакомился бездной народа самого порядочного.»²⁵ И уже в самом восторженном состоянии обо всех из кружка Белинского: «Эти господа уж и не знают, как любить меня, влюблены в меня все до одного.» Один из господ Тургенев «с первого раза привязался ко мне такой привязанностию, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня.»²⁶

В том же духе наивной восторженности выдержаны и другие письма Достоевского этого времени. Успех пришел рано, к человеку совсем молодому, готовому делать о себе наивные признания, в свете совсем неловкому. Да и позже он жаловался на себя «жеста не имею». На вершине лавы все это прощалось, но вот первый литературный неуспех и он стал мишенью для насмешек. Темы для насмешек странные, а тон пасквильный.

Если взять воспоминания Панаева о Достоевском, то даже непонятно, что вызывает у него злобу: «Его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь!» О нем мы протрубили везде, и на площадях и в салонах. Одна барышня с пушистыми бровями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть, и наш кумирчик был поднесен к ней... Барышня изящно пошевелила своими губками и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент, как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. Он очнулся, но уже более не выходил в салон.»²⁷

Речь идет об одном случае с Достоевским, когда его представили светской красавице Сенявиной. Не только Панаев

решил увековечить этот случай в мемуарах, то же сделали в совместно написанном стихотворении Некрасов и Тургенев.

Ставши мифом и вопросом
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносый носом
Перед русской красотой.

Так трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет,
Что чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Стихотворение называется «Послание Белинского к Достоевскому» и начинается так:

Витязь горестной фигуры
Достоевский милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

Это произведение не отражало бы так полно отношение братьев-писателей, если бы в конце не было помещено маленькой клеветы:

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

Тургенев всю жизнь не устал рассказывать, как Достоевский, отдавая повесть Белинскому для издания, просил поместить ее для заметности в начало или в конец и (в

передаче Тургенева К. Леонтьеву) прибавил: «Знаете ли, мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюриком обвести.»²⁸

Раз найдя своего собрата по искусству смешным, писатели из кружка Белинского уже не могли оставить его в покое. Как вспоминает Авдотья Панаева: «и пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи.. А Тургенев их подхватывал и потешался.»²⁹ К тому же «один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке о нем и о его «Бедных людях».³⁰ (Считают, что это был Д.В. Григорович, с которым Достоевский одно время жил на одной квартире. А.О.)

Время первых отношений с Достоевским вспоминал и Тургенев: «Он возненавидел меня уже тогда, когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру; хотя я ничем не заслужил этой ненависти. Но беспричинные страсти, говорят, самые сильные и продолжительные.»³¹

Составив соответствующее мнение о Тургеневе, как о человеке, Достоевский высоко ценил писателя Тургенева. В 1848 году вышли «Белые ночи» с эпиграфом из тургеневского стихотворения «Цветок»:

«Иль он был создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего.»

После каторги и солдатчины отношения Достоевского с Тургеневым продолжились. Их можно назвать деловыми. У братьев Достоевских журнал, в нем Тургенев напечатал свои «Призраки». Большая часть творчества Тургенева вызывала искренний восторг Достоевского; он восхищался «Дворянским

гнездом». Тургенев «Записками из Мертвого дома». Однако вскоре наметилось, и уже окончательно, полное расхождение в некоторых взглядах, которые не исчерпываются понятиями «почвенник» и «западник».

В 1867 году, в Бадене, произошла ссора, описанная Достоевским в письме к А.Н. Майкову: «Он сам говорил мне, что главная точка его книги («Дым» А.О.) состоит во фразе: «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве.» Он объявил мне, что это его основное убеждение о России».³²

Что-нибудь более противоположное взглядам Достоевского нельзя и представить, а поскольку такую позицию занял человек, чье творчество имело неоспоримое влияние, Достоевский не мог не бороться, тем более, что за тургеневской критикой он не находил чего-либо существенно положительного.

Одно из столкновений писателей отразилось в дневнике их современника: «На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнес тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение. Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствующие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем...»»³³

Небезынтересно отметить, что, излагая ссору Толстого с Тургеневым в редакции «Современника», А.А. Фет отмечает примерно тот же вопрос, адресованный Толстым Тургеневу, и замечает по этому поводу: «По всему, слышанному мною в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были бы принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.»³⁴

Приступая к роману «Бесы», Достоевский заявлял, что желает «высказаться до конца». Там он высказался до конца и о Тургеневе, выведя его под именем Кармазинова. Принято

называть этот образ карикатурой, хотя вскоре после опубликования романа прототип оказался хуже героя.

Воспользовавшись слухами о выброшенной из романа «Исповеди Ставрогина», где герой соблазняет и доводит до самоубийства девочку, Тургенев потихоньку стал рассказывать об исповеди ему Достоевского в сходном преступлении, особенно смелея после смерти Федора Михайловича.

При жизни Достоевского это было опасно, стоит только вспомнить влияние публицистики «Дневника писателя». Еще за несколько месяцев до смерти, после Пушкинской речи, Достоевский писал в письме: «Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая мне руки, настойчиво говорили, что я написал вещь гениальную! Увы, так ли они теперь думают о ней?»

Отношение Достоевского к Тургеневу, казалось, полностью исключало возможность исповеди, однако писательский талант Ивана Сергеевича помог ему создать видимость правдоподобия, и даже не то чтобы обвинить прямо, а набросить тень.

Тургенев рассказывал, что раз, когда он приехал из Парижа, к нему в гостиницу пришел Достоевский, пришел «дабы высотой ваших эстетических взглядов измерить бездну моей низости». В пересказе детали выглядят так: «случилось вчера», «гувернантка-француженка с воспитанницей в Летнем саду», «дерзкое предложение» гувернантке... Перечисление «наиболее возмутительных подробностей останавливает крик Тургенева: «Федор Михайлович, уходите!» А Достоевский быстро повернулся, пошел к двери и, уходя, посмотрел на Тургенева не только счастливым, а даже каким-то блаженным взглядом. А ведь это я все изобрел-с, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения». Рассказывая об этом свидании, Тургенев заключал неизменным уверением, что, конечно, «старый сатир» и «ханжа» все это действительно выдумал.³⁵

Со временем у Достоевского прибавился еще один исповедник. По Григоровичу, Достоевский пришел сначала к нему,³⁶ а он, выслушав, сказал: «Ступайте к человеку, которого вы считаете своим лютым врагом и которого ненавидите больше всего на свете, и покайтесь ему во всем содеянном». Достоевский «подумал» и отправился к Тургеневу.³⁷

Однако рекорд низости в вариациях на тему из «Исповеди Ставрогина» принадлежит не Тургеневу и не Григоровичу. Пальма первенства осталась за человеком, написавшим о Достоевском теплые мемуары за Страховым.

Н.Н. СТРАХОВ.

Критик Страхов, сотрудник журналов «Время» и «Эпоха», соратник по борьбе с «нигилизмом», был связан с Достоевским долгими отношениями. Несомненная образованность Николая Николаевича привлекала Достоевского. Одно время он любил с ним беседовать, звал к себе за границу. Раз они неделю пробыли во Флоренции, где, вспоминает Страхов, «всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина.»³⁸

Там же, во Флоренции, произошел их спор, после которого стало ясным, что совпадение их позиций по разным вопросам дело внешнее, такая обнаружилась разница в фундаменте их идей.

О споре этом Достоевский не оставил записи, мы знаем его только из рукописи Страхова, что под названием: «Наблюдения. Посвящается Ф.М. Достоевскому.»³⁹

Рукопись не закончена, и изложение конспективное. Описание спора начинается словами: «Я должен отдать вам справедливость, что в нашем споре вы попали прямо на больное место, да и не только мое, а и многих других.»⁴⁰

Через несколько строчек характеристика позиций спора:

«...с одной стороны, именно с той стороны, на которой вы стоите,- часто молодость, всегда жар, страсть проповедовать, небрежность к форме и ко всякого рода правильности, но зато живые чувства и мысли, нередко талант, иногда гениальные проблески... С другой стороны некоторая холодность, привычка к строгой и правильной мысли, отсутствие большого жара проповедовать, но вместе с тем, часто отсутствие всякого таланта, молчание всяких живых струн. На этой стороне я стоял во время нашего спора и на нее часто становлюсь.»⁴¹

Основание своей позиции критик находит в неверии в человека: «Когда.. спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: Нет, гнусен до последней степени!» И далее, почти в заключении: «Остается сказать еще одно: я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому, что я не верю в человека...»⁴²

Если то же было высказано и в споре у площади Сеньории, то в тот момент Достоевскому впору было с любовью вспомнить Тургенева. Тот все-таки на одну Россию замахнулся... Теперь яснее и начало страховской рукописи: «В одну из наших прогулок во Флоренции, когда мы дошли до площади.. и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь.»⁴³

Не только направление мысли, но и человеческие свойства Страхова любить Достоевский не мог. В 1875 году в письме к жене, Достоевский вспомнил: «Он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления и наказания».⁴⁴

Когда Страхов жалуется в письмах на раздражительность

Достоевского, то по отношению к нему это, вероятно, что-то вроде полуистощенного терпения. Тем не менее они не раззнакомились всю жизнь. Не один Достоевский мучился дружбой-враждой со Страховым. С ним трудно было поссориться до конца — это никогда не входило в планы Николая Николаевича. В книге воспоминаний Анна Григорьевна Достоевская с горечью, смешанной с удивлением, вспоминает о Страхове, бывшем свидетеле на ее свадьбе, и приводит слова одного из ее собеседников:

«Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип «благородного приживальщика», каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определенным дням к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало кому интересен, но он был повсюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь о Толстом, другом которого он считался.»⁴⁵

После смерти Достоевского Страхов разбирал его бумаги и мог наткнуться на такой отзыв о себе: «Литературная карьера дала ему четырех читателей и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости.. эти литераторы начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми.»⁴⁶

Далее Страхов мог читать отзыв уже вполне пророческий, который и поспешил оправдать: «Несмотря на свой строго-нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все.»⁴⁷

Страхов, вероятно, принимает решение отомстить. Первоначально появляется отрывок под названием «Для себя», начинающийся словами: «Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того

отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни, и по смерти.»⁴⁸

Видна мысль под видом сугубо-интимного, «для себя» размышления, донести в будущее мнение близкого Достоевскому человека, в котором боролись сложные, противоречивые чувства: «Я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами (так свойственными Николаю Николаевичу А.О.), памятью его достоинств (жаль, но чтобы поверили, приходится говорить о достоинствах А.О.) и той цели, для которой пишу.»⁴⁹

Отрывок остался не закончен, но эти строчки становятся черновиком письма к Льву Толстому и через тридцать лет, в 1913 году, письмо будет опубликовано.

Есть и еще одна причина написать Толстому его отношение к памяти Достоевского, о котором в письме к тому же Страхову Толстой писал: «Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу.»⁵⁰

Не будем приводить всего письма Страхова Толстому, приведем его часть: «Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление к пр. Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим.»⁵¹

Последние строчки указывают на истинный источник Страхова, из осторожности все-таки сославшегося на Висковатого: «стал мне рассказывать». О Висковатове, которому «похвалялся», только раз читаем в письмах Достоевского: пришел Висковатов, изъяснялся в любви, спрашивал, отчего я его не люблю? и проч. Все-таки был лучше, чем всегда.»⁵²

В.Г. БЕЛИНСКИЙ.

Первыми и восхищенными читателями «Бедных людей» были Григорович и Некрасов. От них повесть попала к Белинскому, пришедшему от нее в самое восторженное состояние: «Написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений, который силою постижения в одну минуту схватывает то, для чего обыкновенному человеку потребен опыт многих лет.»⁵³

Свои отношения с Белинским вспоминал не раз Достоевский в письмах, записных книжках, вероятно, в большой, к сожалению, пропавшей статье о нем и в «Дневнике писателя»: «Первая моя повесть восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись от разнообразных причин, весьма, впрочем неважных во всех отношениях)»⁵⁴ отметим сдержанность Достоевского-публициста. «...тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился.. обращать меня в свою веру.. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма.»⁵⁵

Социальная критика Белинского в то время сильно подействовала на Достоевского, иначе бы в конце статьи не было признания: „я страстно принял тогда все учение его». Что слово «все» относится только к социализму, видно из той же статьи: «Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и

невежественным человеколюбием, осужденным современными науками и экономическими началами. Но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота..» «..Белинский не остановился даже и перед этим препятствием.»⁵⁶

В «Дневнике писателя» нет всего, что мы знаем о том, как справлялся Белинский с «препятствием». Об этом можно прочитать в дневнике А.А. Киреева: «Достоевский рассказывал из дальних лет Белинский так говорил об Иисусе Христе: «Этот подлец...

Теперь вернемся к рассказу «Дневника писателя»: «Мне даже умирительно смотреть на него, прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, указывая на меня: каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо меняется, точно заплакать хочет...»⁵⁷

Для того, чтобы выработать ясное отношение к атеизму, Достоевскому пришлось много думать об этом на каторге, где единственной его книгой долго было Евангелие, где «каторжному без Бога нельзя».

После каторги, на поселении, во время спора о Боге, Достоевским случился припадок эпилепсии. По воспоминаниям Софии Ковалевской, Федор Михайлович считал его первым припадком:

«...неожиданно приехал к нему один его старый товарищ.. Это было именно в ночь перед светлым Христовым Воскресеньем. Товарищ был атеист Достоевский верующий, оба горячо убежденные, каждый в своем.

Есть Бог, есть! закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

- И я почувствовал, рассказывал Федор Михайлович что

небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — кричал я. И больше ничего не помню.»⁵⁹

Перед каторгой вера была почти утеряна и даже так, что приготовленный к расстрелу, поминутно целуя крест, протягиваемый священником. Достоевский все-таки, по позднему признанию, вряд ли в эту минуту «что-нибудь религиозное сознавал.»

Выйдя с каторги, Достоевский написал Наталии Дмитриевне Фонвизиной: «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры очень прост, вот он: верить, что ничего нет прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.»⁶⁰

Белинский был сильным спорщиком и может быть это «если б кто мне доказал» — отголосок проигранных споров, один из которых, уже с другим противником, завершился видением.

Отчасти обратив Достоевского в свою веру, Белинский быстро отвернулся от него и не только оттого, что не понял «Двойника» — главное было в отходе Достоевского от «социальности» первой повести. Переход Белинского

совершился от «Вы сами не знаете, что вы написали!» к «надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»⁶¹

Постоянство мнений не было чертой «неистового Виссариона». В 1839 году он пишет статью во славу русского самодержавия «Бородинская годовщина», в 1845 году приветствует социализм; в начале 1847 года пишет о «социалистах, этих насекомых, вылупившихся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо.» Прочитав «Исповедь» Руссо, которого раньше не читая называл гением, Белинский «возымел сильное омерзение к этому господину.. он так похож на Достоевского...»⁶²

Переменчивость критика Достоевский заметил сразу же. Еще в 1846 году он писал брату: «Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе.»⁶³

Через двадцать лет, в другом письме, Достоевский возвращается к мыслям о Белинском: «Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям. Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*.. Он удивлением провозгласил ничтожество повестей Белкина.. Он отрекся от окончания Евгения Онегина. Он сказал, что Тургенев не будет художником.. Я бы мог набрать вам таких примеров сколько угодно, для доказательства неправды его критического чутья.»⁶⁴

ДОСТОЕВСКИЙ И ДРУГИЕ ПИСАТЕЛИ.

Мало что так раздражало Достоевского, как критики и критика, иногда строившаяся на сознательном недопонимании. В работе Достоевскому помогало творчество великих писателей, а не критики, из которых, может быть, больше всех

делал Аполлон Григорьев, просто сказавший ему после «Записок из подполья»: «Ты в этом роде и пиши.»⁶⁵ Выпады критиков против Достоевского вызывают недоумение. Все это началось задолго до «Бесов», вызвавших уже настоящее улюлюканье. Так, в 1863 году, в «Свистке» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин поместил эпиграмму:

САМОНАДЕЯННЫЙ ФЕДЯ.

Федя Богу не молился,
«Ладно, мнил, и так!»
Все ленился, да ленился...
И попал впросак!

Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл,-
И привычной канителью
Время наполнял...

Когда через несколько лет вышел роман «Идиот», в нем оказался близкий по размеру, глупости и оскорбительности для князя Мышкина стишок:

Лева Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял.

Возвратясь а штиблетах узких
Миллион наследства взял,
Богу молится по-русски,
А студентов обокрал.

Одним из рядовых приемов враждебных Достоевскому критиков было сомнение в психической полноценности писателя. Воспоминания Николая Гавриловича Чернышевского написаны уже через семь лет после смерти Достоевского: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф.М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня... После приветствий Достоевский заговорил о цели своего визита: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание.» Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности...»⁶⁶

Так в короткой заметке Чернышевский рассказал скорее о себе, а о Достоевском только подтвердил его всегдашнее желание ценить каждый добрый порыв в противнике.

Тому пример отношения с Огаревым. Как-то, за границей, оставшись совсем без денег, Достоевский попросил займы у богатого Герцена и у нищего Огарева. Герцен денег не дал, а Огарев поделился последними десятью франками.⁶⁷ Взгляды Огарева были неприемлемы для Достоевского, одно из стихотворений его пародировано в «Бесах», но личность поэта, отдавшего землю крестьянам и теперь доброго и в нищете, вызывала только симпатию: «у него сердце есть».⁶⁸

Для симпатий и сочувствия у Достоевского могло быть еще больше оснований: Огарев страдал той же болезнью и даже пострадал от тех же людей. Вот эта история в кратком изложении. Авдотья Панаева обманула первую жену Огарева в деле по принадлежащему той имению, отданному ей по разводе. Перед смертью, а умерла она в Париже нищей, она переслала бывшему мужу письма, изобличающие Панаеву, тогда гражданскую жену Некрасова. Когда Огарев начал показывать письма первой жены, как-то у него на квартире появился Тургенев с поручением от Некрасова и стал угрожать, что если письма и впредь будут показываться, то, в свою очередь, письма Огарева к Некрасову, компрометирующие Огарева с политической точки зрения, будут переданы «куда следует». Сразу после этого Огарева застали в эпилептическом припадке.⁶⁹

Потерпев от «идейно-близких», несчастный, спившийся Огарев тянулся к «идейно-далекому» Достоевскому в 1868 году в Женеве. Теплою ответила ему и семья Достоевских.⁷⁰ Ничто так не говорит о благородстве натуры, как способность ценить противника. Этим Достоевский обладал в высшей степени. Никто над могилой Некрасова не защитил его память, нуждавшуюся в защите, лучше, чем Достоевский. Почему он сделал это? Ответ в способности Достоевского отделять личность от убеждений, а убеждения от творчества.

К примеру, в записных его книжках совсем близко находятся две записи о Лермонтове: из одной видно, что личность Лермонтова ему не по душе,⁷¹ но тут же и другое: «Кто это подписал одну копейку Лермонтову (на памятник А.О.). Почему его имя не объявлено, если он сам его выставил. Надо иметь мужество для собственного мнения и имя его запомнила бы вся Россия. Запомнила же Греция имя Ферсита.»⁷²

Жизнь Достоевского во враждебной ему литературной среде, склонной к травле, к ядовитым и живучим сплетням,⁷¹ не уменьшила его способности к объективности в оценке чужого творчества. Благородство суждений делает его таким же редким в критике, как талант в литературе.

Современная Достоевскому, да и позднейшая критика направлением» так и не научилась руководиться чем-то повыше «злобы дня». По тому, что в разное время писали лучших писателях, можно думать, что русская литература осуществляла свой путь не с помощью критики, а несмотря на критику.

Так заушали за «ретроградство» Достоевского, так затравленный Лесков толкнулся с тем, что Бунин называл «русская либеральная толпа», так, ходивший в безыдейных Чехов с горечью написал: «Погодите, у нас на Руси, под флагом искусства и свободомыслия будут царить такие жабы и крокодилы, что каждому подлецу в литературе будет где жить и умереть с честью!»

Бесы.

В марте 1870 года в письме к А.Н. Майкову Достоевский рассказывал: «То, что я пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завоят-то нигилисты и западники, что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь.»¹ Стремление «высказаться погорячее» не может быть понято по-настоящему без знакомства с некоторыми обстоятельствами нечаевского дела, вызвавшего к жизни роман «Бесы».

Сергей Геннадьевич Нечаев, вольнослушатель Петербургского университета, в начале 1869 года инсценировал свой арест, а потом из-за границы оповестил единомышленников о своем бегстве «из промерзлых стен Петропавловской крепости».

За границей Нечаев приступил к изданию прокламаций, в которых призывал уничтожить государство с его «мишурно образованной сволочью». Деятельность Нечаева произвела сильное впечатление на известных революционеров: «Они прелестны, эти юные фанатики...» писал Бакунин.²

Тем временем сам «юный фанатик» извещал своих корреспондентов в России: «Здесь дело кипит! Варится такой суп, что всей Европе не расхлебать.»³ Приготовление к будущим событиям отразилось в разработанном Нечаевым «Катехизисе революционера». Это была программа организации «Народная расправа», деятельность которой протекала уже в России. Цели и задачи нового общества были сформулированы ясно:

«Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение...»

«...сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством..., соединимся с диким разбойничим миром, этим истинным и единственным революционером в России».⁴

Как можно заметить, определение уголовников в будущих концлагерях 1920-х, 1930-х годов, как «социально-близких», имеет свою предысторию.

«Поганое общество», подлежащее разрушению, подразделялось «Катехизисом» на шесть категорий. К первой отнесены люди, «особенно вредные для революционной организации» и потому осужденные на уничтожение в первую очередь; ко второй те, которым «даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта», к третьей множество высокопоставленных скотов или личностей, пользующихся по

положению богатством, связями, влиянием, силой», их предлагалось всячески опутывать и эксплуатировать, «сделать.. своими рабами»; к четвертой «государственные честолюбцы и либералы», причем предписывалось «скомпрометировать их донельзя.. и их руками мутить государство»; к пятой доктринеры и «праздно глаголющие», которых необходимо толкать на «практические дела», в результате чего последует «бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».⁵

Женщины были выделены в особую, шестую категорию и со свойственной документу пунктуальностью подразделялись на три разряда: первый соответствовал третьей и четвертой категориям мужчин, второй пятой мужской категории, а женщины третьего разряда рассматривались как «совсем наши» и предлагалось смотреть на них «как на драгоценные сокровища наши, без помощи которых нам обойтись невозможно».

Борцы за всеобщее равенство распространили иерархический принцип и на самих революционеров: «У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, т.е. не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу».⁶

В случае сомнений, возникавших у «революционеров второго и третьего разрядов» они рисковали перейти в те враждебные категории, людей из которых «надо положительно истреблять без всяких рассуждений» или «заставить замолчать тем или другим способом (хотя бы лишением языка).»⁷

От провозглашения этих принципов до их применения прошло всего несколько месяцев. Скоро Нечаев вернулся в Россию, действуя от имени таинственного «Комитета».

Однажды это вызвало реплику студента Иванова: «Комитет всегда решает точь-в-точь так, как вы желаете».⁸

Сомнения оказались достаточно, чтобы Нечаев объявил Иванова предателем, убийство которого должно «сцементировать кровью» участников организации. Четыре члена московского отделения «Народной расправы» получили на бланке центрального комитета предписание убить Иванова.⁹ В «Бесах» об этом говорится так: «...подговорите четырех членов кружка укокошить пятого.. и тотчас же вы их пролитую кровью, как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют.. отчетов спрашивать.»¹⁰

25 ноября 1869 года «два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада Петровской Академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; от грота кровавые следы вели к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого....»¹¹ Им оказался студент Петровской Академии И.И. Иванов.

После убийства Нечаев уехал за границу и там объявил смерть Иванова результатом «суровой логики истинных работников дела.»

Как видим, у Достоевского, знакомого с этими событиями, было достаточно оснований «высказаться погорячее». И он высказался.

Революционный теоретик из «Бесов» явно принял к сведению тягу Нечаева к жесткой иерархии: «Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо....»¹²

Мысли теоретика Шигалева, которого один из соратников называет «фанатиком человеколюбия», встречают сочувственное отношение в толковании практика Петра

Верховенского: «Шигалев гениальный человек!.. У него хорошо в тетради.., у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны.»¹¹

Как и Шигалев, Петр Верховенский развивает мысли Нечаева. Если в «Катехизисе» читаем: «Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия.., в церковь... в литературу», то отзыв, развитие и оптимистическую оценку этого положения слышим из уст Петра Верховенского: «...мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут да делают классические выстрелы... Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!»¹⁴

Есть еще одно сходство между Петром Верховенским и Нечаевым. Оба действуют от имени несуществующих организаций и этот обман, вероятно продиктованный «пользой революционного дела», ведет нас к другому поколению профессиональных бунтарей.

Если Нечаев в 1869 году отрекомендовался Бакунину представителем большой (на деле вовсе не существовавшей) подпольной организации, то и Бакунин снабдил его документом, удостоверявшим, что Нечаев является доверенным представителем «Всемирного революционного союза» (тоже несуществующего). На этой бумаге Бакунин поставил порядковый номер две тысячи семьсот семьдесят один.¹⁵

Бакунин не погнушался обманом, но и в принцип его не возвел за него это сделал Нечаев, и если это, вместе с убийством Иванова и прочей бесовщиной, покорило революционеров прежнего поколения, то надо признать, что

«Народная расправа» была следующим и логическим шагом в революционной идеологии и практике. Не лишенная человечности лондонская революционная эмиграция уже говорила о том, за что всерьез принялся Нечаев. В письме князя Петра Владимировича Долгорукова от 31-го октября 1862 года читаем:

«В Лондоне я провел две недели: видался с Герценом, который так же остроумен и так же легкомыслен, как и прежде; с Огаревым, по-прежнему добрейшим и тупоумным; познакомился с Бакуниным, умным, но самым взбалмошным существом, истым героем баррикад: накануне и на другой день после баррикад невозможным, но в самый день битвы великолепным...

Познакомился с Кельсиевым, тупоумным, но добрым человеком, ужаснейшим фанатиком с лицом самым добродушным. Кельсиев, мягким голосом, с нежным взглядом, говорит: «Ведь коли нужно будет резать, как не резать, если оно может быть полезным?», а между тем делится с нищим последнею своей копейкой. Все эти лондонские господа несут чушь ужаснейшую: «жечь, резать, рубить» у них не сходит с языка со времени приезда в Англию Бакунина, который сделал их еще нелепее прежнего. Бакунин мне говорит: «Я вас очень полюбил, но уж извините, когда мы заберем власть в руки, мы вам и вашим единоверцам будем рубить головы.»¹⁶

Шуткам об отрубленных головах суждено было сбыться, когда на смену стали приходить мрачные практики вроде Нечаева, считавшие предшественников болтунами. Позже, как мы знаем, пришли еще более серьезные люди, предпочитающие не высказываться так же ясно, как Нечаев, а ограничиться, обсуждая подобную тему, выражением наподобие «экспроприация экспроприаторов». Не в интересах тех, кто решил довести дело до конца, превращать эзотерическое в экзотерическое. Ими решено действовать, как Нечаев, но не

говорить, как Нечаев, и даже представить его особняком от других революционеров. Последнее можно делать, только замалчивая историческую подоплеку «Бесов».

В 1869 году в Женеве Нечаев напечатал воззвание, в котором имя Каракозова, стрелявшего в Александра II, упоминается в таком контексте: «Дело Каракозова надо рассматривать, как пролог! Да, это был пролог! Постараемся, друзья, чтобы поскорей наступила и самая драма!»¹⁷

О том, как рисовалась «самая драма», мы можем узнать из прокламации «Молодая Россия», вышедшей из кружка Зайчневского в 1862 году:

«Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком.. двинемся на Зимний дворец...

...мы издадим один крик: «в топоры» и тогда.. бей императорскую партию, не жалея.., бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей по деревням и селам!

Помни, что тогда, кто будет не с нами тот будет против, кто против тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами.»¹⁸

Через три года после издания прокламации «Молодая Россия» создается революционное общество под названием «Организация».¹⁹ Ее возглавлял Ишутин, двоюродный брат Каракозова. «Организция» имела тщательно законспирированное ядро под названием «Ад». О целях «Ада» можно прочесть у советских историков: «Ад».. мыслился как центр, стоящий над тайным обществом и применяющий методы террора не только к самодержавию... Он брал на себя и карательные функции по отношению к участникам тайного общества.»²⁰

В другой книге «Чернышевский или Нечаев?», к упоминанию об «Аде» добавлено, что один из революционеров

Федосеев «брался даже отравить собственного отца, чтобы передать полученные в наследство деньги «Организации»».²¹

В свое время сведения об «Организации» попали в печать и Достоевский, при его внимании к прессе, не мог этого не знать. Вполне возможно, что склонность Петра Верховенского постоянно демонстрировать занятость взята Достоевским от Ишутина, о котором пишут: «Старавшийся, по-видимому, походить на Рахметова Ишутин.. нарочно окружал себя таинственностью заговорщика («сейчас только от дела», «сейчас бегу на свидание с одним человеком»). Ишутинцы считали вполне согласующимся с принципами Чернышевского допущение любых средств, ведущих к достижению намеченной цели.»²²

Может быть в интерпретации убеждений Чернышевского ишутинцы ошибались немного. Еще в 1853 году Чернышевский записал в дневнике: «..если вспыхнет.., я приму участие. *Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня.*»²³

Ту же твердость в принятии массовой гибели, выраженную тем же словосочетанием, встречаем в прокламации «Молодая Россия»: *..мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах.*»²⁴

Годом раньше, в 1861 году, Н.В. Шелгунов, соратник Чернышевского, выпустил прокламацию «К молодому поколению», где говорилось: *если для осуществления наших стремлений пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого.*»²⁵

Нужно было находиться во власти редкого помрачения, чтобы думать, что это принесет пользу народу, о предельно ясной реакции которого на террор можно прочесть в дневнике Ключевского. Запись была сделана 14-го апреля 1866 года, через десять дней после покушения Каракозова:

«Что было бы.. если бы вывели показать его народу?... Растерзали бы... Господи! Какая безобразная путаница понятий! ...случай уничтожает нечестивый замысел, и вся страна ликует, провозглашает свое избавление от чего-то! О родина! Не напугаешь ты этими овациями ловкого врага. Нет в тебе, беззащитная родина, ни выдержки, ни умения понимать вещи, как следует... И теперь.. мне хочется с горькими сдвинутыми слезами пропеть про себя: «Боже, храни бедный народ, бедную Россию!»»²⁶

Тоска, охватившая Ключевского во время всеобщего ликования, была предчувствием близкого будущего. Пройдет несколько лет и организация, назвавшая себя «Народная воля», приговорит царя, отменившего крепостное право, к смерти. Приложит к этому руку и Нечаев. Находясь в заключении, он установит связь с исполнительным комитетом «Народной воли» и, когда Желябов спросит Нечаева, что поставить на очередь: освобождение его или убийство Александра II. Нечаев, колеблясь, выскажется за убийство.²⁷

Прокламация «Народной воли» 2-го марта 1881 года должна была удовлетворить Нечаева: «Русский рабочий люд! Сего 1-го марта Александр II, мучитель своего народа, убит нами... Он убит за то, что не заботился о своем народе.., он не давал народу воли... он защищал только одних богатых... Братья рабочие! Настала пора, когда правда воцарится на земле!»²⁸

Спустя восемь дней «Народная воля» обратилась к сыну убитого, Александру III, с письмом, где были такие строки: «...цареубийство вызывает в огромной части населения радость и сочувствие.»²⁹ После этого члены исполнительного комитета указывают Александру III: «Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознания своих обязанностей...»³⁰ О том, как понимала «Народная воля» обязанности царя, можно прочитать в том же документе, где требуется прощение «всем политическим преступлениям

прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.»³¹

Как видим, не один Нечаев вменял преступление в гражданский долг. Идея посмертной изоляции Нечаева от других революционеров восходит к самому Нечаеву, не мыслившему революционную деятельность без обмана. В своих воспоминаниях Вера Засулич пишет о Нечаеве: «До самого конца он сохранил глубокое убеждение, что мистификация есть лучшее, едва ли не единственное средство заставить людей сделать революцию.»

Обман вошел в «бесов», как их неотъемлемая часть и сами «бесы» до сих пор окружены обманом. На Западе иногда обманываются тем, что нечаевщина — глубоко русское явление. Между тем, заглянув в «Былое и думы», все могут прочесть о том, каких двух немецких революционеров встретил раз Герцен на прогулке в Женеве. Единство их облика и их идей заставило Герцена сделать такую запись:

«Лицо Густава Струве... выражало тот нравственный столбняк, который придает изуверство... Наружность Карла Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба... Он писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре — и дело революции пойдет как по маслу.»³²

За разъяснением этой программы Герцен обратился к некоему Р., другу Гейнцена:

«...как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

Послушайте, сказал он наконец. Вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческом, в этом числе, по крайней мере двести тысяч китайцев.

Ну, вот это другое дело, чего их жалеть, ответил я, и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.»³³

Отношения между суровейшими из поколения в поколение революционерами переданы в «Бесах» на примере Верховенского-отца и Верховенского-сына. И в буквальном и в переносном смысле их соединяет кровная связь. Умница, либерал и болтун Степан Трофимович порождает на свет фанатика и убийцу Петра Степановича. За этой очевидной ответственностью есть и другая, менее очевидная, но не менее важная. Верховенский-старший является воспитателем Ставрогина, преступления которого связаны с ощущением бессмысленности сущего, в котором он хотел бы, но не может ощутить присутствие Бога. О том, что наставник Ставрогина был весьма воинствующим атеистом, мы можем понять из содержания его поэмы, пересказываемой в самом начале романа:

..вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собой смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей.»³⁴

Тема религии еще явственнее звучит в черновиках, фрагменты которых могут служить ответом тем, кто считает Достоевского обманувшимся в своей вере в народ. На самом деле вера Достоевского в народ совмещалась с ясным предвидением катастроф и то, что ему удавалось соединять это в себе, является для нас, в зависимости от наших взглядов, загадкой или обещанием. Приведем черновик.

Князь: «Понимаете ли, в чем главная сущность вопроса:

христианство спасает мир и одно только может спасти... христианство только в России есть, в форме православия...»

Шатов: «Итак, Россия спасет и обновит мир православием?»

Князь (холодно): «Если будет веровать...

Роман Достоевского не был бы вполне исполненным, если бы в эпилоге мы не прочитали что-то хорошо знакомое. «Теперь, три месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере с гениальными способностями. «Организация-с! говорят в клубе, подымая палец кверху.»¹⁶

На подходе к пророческому роману из под пера Достоевского выходили разные названия, комбинация которых может дать многозначительную схему:

«АТЕИЗМ» «ЗАВИСТЬ» - «БЕСЫ».

ПОСЛЕ МУЗЫКИ.

«Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт.. это носитель ритма. В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни государство, катятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов.»¹

Не меньше, чем обо всем мире, говорит Александр Блок, определяя поэзию приобщением стройности, заложенной в глубинах духа и мироздания. Жизнь предстает Блоку, пронизанная ритмами, они же, то ли восходят к единому центру, то ли просто соответствуют строю духа, души, тела.

Подобное видение мира в европейской традиции идет от философии Шопенгауэра: ...мир можно было бы с равным правом назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной

волей, из чего понятно, почему музыка тотчас же придает повышенную значительность всякой сцене действительной жизни и мира, и это, конечно, тем более, чем более аналогична ее мелодия внутреннему духу данного явления».

Стихи делятся на музыку и смысл, который, однако, призван оказывать действие, родственное действию музыки. Удача стиха не только в отысканном ритме, но и в музыкальности смысла, как в строчке Блока:

«Весна мечты моей далекой...»

В других строчках, посвященных противоположному, но тоже неопределенному времени, от соответствия мелодии и смысла усиливается не только значение целого, но даже знака препинания:

«О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!»

Между «дети» и «вы» не запятая рыдание...

Подчинение внутреннему звучанию изображаемого необходимостью приводит к сужению тем, если поэт предпочитает слушать музыку своей души, выбирая только близкое ей, или к многообразию мотивов, если он обращен миру, где гармония соседствует с дисгармонией.

Вера в музыкальный смысл всего сущего вела Блока к расширению сферы его эстетики. Художнику заманчиво разделять мнение о том, что «даже безобразное и дисгармоническое есть художественная игра, в которую Воля, в вечной полноте своей радости, играет сама с собой»

Эту фразу мы встречаем у Фридриха Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки», в работе, где жизнь и нравственность противопоставляются друг другу. В конспекте

этого произведения Блок записал: «Перед судом нравственности (особенно мистической, безусловной) жизнь должна быть всегда и неизбежно неправа. Поэтому нравственность должна быть стремлением к отрицанию жизни, тайным инстинктом уничтожения, принципом упадка. Оценка жизни артистическая и антихристианская.»²

Подчинение источнику музыки жизни, противостоящей нравственности, означило диссонанс, отразившийся в творчестве и жизни Блока и разрешившийся в его смерти.

ДИССОНАНС.

Дисгармонии в жизни соответствует диссонанс в музыке. У верящих в смысл миропорядка художников он краток, как стук смерти в окно у Бетховена.

Не стоило бы слишком категорично утверждать, что изображать смерть напевной мелодией все равно, что представить ее в живописи цветущей девушкой. Трагическому сознанию смерть может прозвучать «как берег моря суеты...»

И все же звук костей стук и тема ведет к диссонансам и название дребезжит «Балаганчик» и с первых строк:

«звучит эта адская музыка,
завывает унылый смычок.

В другом стихотворении, в другом балаганчике, у Эдгара По, дают мистерию, где:

«музыка сфер надрывно звучит
в оркестре лада нет.»

Внешне близкое ритмами грубым виршам, стихотворение По хорошо соответствует самозвучанию темы:

Свет гаснет гаснет погас
И все покрывается тьмой
И с громом завеса тотчас
Опустилась покров гробовой...
И, вставая, смятенно изрек
Бледнеющих ангелов рой,
Что трагедия шла «Человек»,
В ней же Червь-победитель герой.¹

Блоковский балаганчик отличается иронией, отсюда еще большая потребность в диссонансах и даже почти переход на прозу:

Вдруг паяц перегнулся за рампу
и кричит: «Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей картонный шлем!
А в руке деревянный меч!

Заплакали девочка и мальчик
И закрылся веселый балаганчик.

1905 г.

Введение иронии не отменило трагизма темы, ибо смерть самая страшная из ироний.

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ.

30-го января 1918 года, призывавший слушать «музыку революции», Блок написал «Скифов», после которых, по собственному признанию, слышать музыку перестал. Кончилась музыка, но нельзя сказать, чтобы после «Скифов» совсем

кончились стихи. Они продолжились и входят в собрание сочинений под названием «Шуточные»:

«В свалку всякого навоза
Превратился городок,
Где же дальше Совнархоза
Голубой искать цветок?»⁴

Как ни странно соседство этих стихов с другими у Блока в несозвучности повому их не обвинишь. Ушла музыка пришла музычка, и она всерьез зазвучит у официальных советских поэтов и иронически у обереутов.

В 1919 году «стихи писать забывший Блок» написал вполне обереутское стихотворение под названием: «Продолжение «Стихов о предметах первой необходимости», оставшись верным традиции писать о редком:

«Скользили мы путем трамвайным,
Я керосин с работы нес,
Ее - с усердьем чрезвычайным
Сопровождал, как тигр, матрос.

Вплоть до колен текли ботинки,
Являли икры вид полен,
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен.»⁵

Так Блок, встретивший еще одну незнакомку, оказался предтечей обереутов, хотя в этом у него был предшественник, обнаруженный на одном из чтений Заболоцкого, которому Шкловский кинул: «Да это же стихи капитана Лебядкина!» Последовал ответ: «А капитан Лебядкин не худший поэт в русской литературе.»

Итак, генеалогия ведет нас к «Бесам» Достоевского, где исполняемая «Марсельеза» почему-то незаметно переходит в «Mein lieber Augustin», а один из героев, капитан Лебядкин, пишет невозможные стихи, вроде:

«Жил на свете таракан,
Таракан от детства.
И потом попал в стакан
Полный мухоедства.»⁶

Свидетельство в пользу интереса Блока к ерническим стишкам в стиле Лебядкина находим в послереволюционном его дневнике. Вот стихи одного матроса с пометкой: «Эти строки запомнились мне наизусть»:

To Sally.

Я хочу лететь к тебе
Мотылечком - невеличкой
И вопрос задать тебе:
«Ты, Sally, будешь большевичкой?»⁷

Матрос явно предвосхитил антистихи Заболоцкого из «Столбцов», а Блок, возможно, почувствовал, что антистихи в антикультурную эпоху могут действовать, как стихи. В них же, вместо музыки и смысла, нужны музыка и малосмыслица, но опять же, не без соответствия, на сей раз со звучанием окружающей протоплазмы:

«Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной.
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.»

Это конец стихотворения Заболоцкого «Цирк» (еще один «балаган»), где о музыке сказано глаголами «верещит», «гремит» и «завывает». Долго слушать такую музыку трудно, и Заболоцкий, отвернувшись в себя, после столбцов стал писать стихи.

Блок ошибался, когда в революцию писал о том, что «музыка старого уже отзвучала, а музыка нового еще не звучит». За маршем и частушкой он слышал ее, и не один, но трудно было поверить в новое:

Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин.
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин.

После первых трех строчек, принадлежащих традиции, с появлением двух граждан срывается новейшее:

Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
Я сегодня, гражданин,
Плохо спал.
Душу я на керосин
Променял.*

1920 г.

ПО ТУ СТОРОНУ СТИХА.

*Где я? Так томно и так тревожно.
Сердце мое мне стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию духа купить билет.*

Н. Гумилев. «Заблудившийся трамвай».

О странствиях Николая Гумилева говорят его стихи. Путешествия по земле отмечены названиями экзотических стран. Путешествия среди образов мировой истории ясны, как название «Путь конквистадоров». Заблудиться нельзя и среди мифологических образов Гумилева. Только в мире философии можно побывать с поэтом, не зная, где находишься. Вот окончание стихотворения «За гробом»:

*«И когда, упав в свою гробницу,
Ты загрезишь о небесном храме,
Ты увидишь пред собой блудницу
С острыми жемчужными зубами.*

Сладко будет ей к тебе приникнуть.
Целовать со злобой бесконечной.
Ты не сможешь двинуться и крикнуть...
Это все. И это будет вечно.»¹

Поэты не делают примечаний к стихотворениям, оставляя это почтенное, но непозитическое занятие литературоведам, один из которых, Август Шлегель, заметил: «Примечания к стихотворению напоминают лекцию по анатомии по поводу жаркого.» Позволим себе отказаться от научности анатомии и вступить в романтическую область догадок: мысль средневековых немецких мистиков о неутолимом сладострастии ада претворилась в образ. Поэт знал об этой идее и положил ее на стихи.

Незадолго до расстрела Гумилев создал шедевр, в одиннадцати первых четверостишиях которого мы блуждаем вместе с «заблудившимся трамваем», пока не приходим к двенадцатому:

«Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет».²

Только встречный отрывок из Платона может пояснить четверостишие: «...люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине...»³

И дальше: «Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят.. кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?»⁴

Так образ из античной философии прорастает в русской поэзии уже вторым гениальным стихотворением. Первое было написано в 1892 году Владимиром Соловьевым:

«Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?»⁵

Другое небо видел поэт, когда из под пера вышел «зоологический сад планет». В мире чистых сущностей светила сбрасывают свой обычный облик и небо расцветает звездами и созвездиями, такими, как их изображают таринные космографии там львы, раки, скорпионы...

Вернемся к «Законам» Платона и выясним еще одну связь: «А если заставить его смотреть на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?»⁶

Возвращению у Платона соответствует возвращение у Гумилева:

«И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.»⁷

Идеи и сущности оказываются живее их любого временного воплощения, отсюда молебен о мертвой и панихида по живому...

В заключении укажем на еще один образ, почерпнутый из мировой философии. В стихотворении Гумилева «Жизнь» читаем, что ее символ «не поэт» и «не воин», а:

«С иронической усмешкой царь-ребенок на шкуре льва,
Забывающий игрушки между белых усталых рук.»⁸

Один из фрагментов Гераклита: «Вечность ребенок, забавляющийся игрой в шахматы: царство ребенка.»⁹

РУССКИЙ ЭРОС.

*«..недаром же природа сделала то,
что это.. стыдно.»*

Лев Толстой. «Крейцерова соната».

Сила внушения, исходящая от великого писателя, может быть такова, что мы готовы верить ему даже там, где наши чувства, положись мы на них, сказали бы нечто обратное. Взывая к собственному опыту, каждый читатель мог бы спросить себя, насколько правдоподобно то, что случилось после первой близости Анны и Вронского?

«Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная в чем и чем.

Анна! Анна! говорил он дрожащим голосом. Анна, ради Бога!...

Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам...»¹

Если кто-нибудь склонен читать это описание правдоподобным, пусть он перевернет страницу и прочитает о Вронском: «Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни... И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи.»²

Может так случиться, что и последний отрывок покажется читателю не больше, чем странной метафорой, пусть в таком случае, не забывая про собственные воспоминания, он прочитает то, что в «Анне Карениной» есть о медовом месяце:

«Вообще тот медовый месяц... от которого, по преданию ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминаниях их обоих самым тяжелым и унижительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени...»³

На эту же, почему-то печальную для автора тему, высказывается и герой Крейцеровой сонаты: «-Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! с злобой прошипел он.»⁴

Нам можно было бы возразить, что герои не выражают точку зрения автора, но, увы, сам Толстой в послесловии к «Крейцеровой сонате» ясно говорит, что если бы

существование людей прекратилось, то в этом не было бы ничего страшного.⁵ Возможно, на кого-нибудь утешительно подействует напоминание о том, что «уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира».⁶

Осуждение любви, так решительно высказанное Толстым, давно существовало в народном сознании. Один иностранец, посетивший Русь, рассказал о том, что супруги, бывшие близкими в предыдущую ночь, не смели входить в церковь, а стояли на паперти и молодежь над ними посмеивалась. Сознание греховности соединения полов, по-разному выраженное, пронизывает русскую литературу и встречается даже там, где этого меньше всего можно было бы ожидать. В самой свободной, целиком посвященной любви книге «Темные аллеи», в рассказе о близости, происшедшей от сильной симпатии и жалости, мы читаем:

«И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью. Между планок оконной решетки.. ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности.»⁷

У Зинаиды Гиппиус есть героиня, которой чуждо сознание греховности любви, но зато и рассказ называется «Тварь». Героине, которую зовут Саша, приходится выслушивать горькие упреки: «Ты, душа моя, самая величайшая дрянь... То ты и не пьешь, что ты тварь... Без дурмана, без полубеспамятства.. никто теперь не соединится эдак ни какой женщиной, потому что не может».⁸

Убедить Сашу, однако, не удалось, рассказ кончается ее словами: «Миленький... ох миленький... ох миленький ты мой.»

То, что Гиппиус привелось написать о связи пьянства и совокупления, к сожалению, подтверждается в России

каждым годом все сильнее. О том говорят опросы социологов и ужасающая статистика рождающихся «детей карнавала». Один из источников этого явления — то же самое сознание предосудительности половых отношений. Тому, кто склонен третировать эротическую тему, как маловажную, не стоит забывать об этом, равно как и о том, какую роковую роль в русской истории сыграла грязная сплетня о царице Александре Федоровне.

Не лишком ли дорого мы платим за наши заблуждения в сфере интимного? Ясно одно: эта плата будет увеличиваться, пока прав современный писатель, сказавший: «Водка белая магия русского мужика, ее он решительно предпочитает черной магии женскому полу.»¹ Впрочем не все у нас безотрадно: у нас был Пушкин.

*«Пусть же юношам вслед напишут и нежные жены
На приношеньях любви: «Был нам наставник Назон.»*

Овидий. «Наука любви».

В начале «Евгения Онегина» каждый из упомянутых античных авторов не останавливает на себе внимания Пушкина, пока он не называет Овидия:

Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд и мука и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень,
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,

За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный,
В Молдавии, в глуши степей
Вдали Италии своей.¹⁰

Открывая «Евгения Онегина» много раньше, чем «Науку любви» Овидия, мы склонны считать «науку страсти нежной» скорее всего метафорой. Между тем, книга Овидия действительно наука о любви:

Женщины, знайте себя! И не всякая поза годится
Позу сумеете найти телосложению под стать.
Та, что лицом хороша, ложись, раскинувшись навзничь,
Та, что красива спиной, спину подставь напоказ.
Миланионовых плеч Аталанта касалась ногами,
Вы, чьи ноги стройны, можете брать с них пример.
Всадницей быть – невеличке к лицу, а рослой – нисколько:
Гектор не был конем для Андромахи своей.
Если приятно для глаз очертание плавного бока
Встань на колени в постель и запрокинься лицом.
Если мальчишески бедра легки и грудь безупречна
Ляг на постель поперек, друга поставь над собой,...
Если легли у тебя на живот морщины Луцины
Бейся, как парфский стрелок, вспять обращая коня.
Тысяча есть у Венеры забав, но легче и проще,
Выгнувшись полулежать телом на правом боку."

Эта цитата, которую трудно оборвать, показывает, что мы имеем дело не только с наукой о любви, но и с наукой говорить о любви. О том, что Пушкин усвоил первую, говорит длина его дон-жуанского списка, а о том, что и вторая наука не прошла для него бесследно, можно убедиться, прочитав стихотворение «Жене».

Нет я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством, иступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вивясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзания
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внимлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле
И делишь наконец мой пламень поневоле!"

Помимо Овидия, у Пушкина были и другие учителя французы. От них он усвоил искусство игривого намека. Первая из приводимых эпиграмм была и написана по-французски и в переводе звучит так:

У меня была порядочная любовница,
Я ей служил, как ей подобает,
Но головы ей не кружил,
Я никогда не метил так высоко."

• • •

Она тогда ко мне придет,
Когда весь мир уgomонится,
Когда все доброе ложится
И все недоброе встает."

Как и полагалось наследнику Пушкина, Лермонтов продолжил эротическую тему с тем же блеском, иногда вводя юмор в повествование:

И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
Обнявшись в тени цветущей вишни,
Иван Ильич... (Прости ему всевышний!)
Проказник старым обнимал бесстыдно
Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловидной,
Ни круглых персей, дышащих весной.
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был несчастный.
Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
Поправил брюхо и пустился в путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.¹⁵

Лермонтова сопровождали не одни удачи. Приведем место из той же поэмы «Сашка»:

Широко и неловко
На ней сидела юбка, но плутовка
Поднять умела грудь, открыть плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства.»¹⁶

Эротика этого отрывка неуместна, поскольку действие происходит в публичном доме, где истинный эрос умирает, что всегда чувствовали русские писатели. Герой рассказа Чехова «Припадок» после посещения борделей находится на грани душевного заболевания, а в «Яме» Куприна среди всех

проституток наслаждается только одна, больная бешенством матки. Жалость, а не игривость, отличала лучшую русскую литературу при столкновении с темой проституции:

«И все эти.. женщины, всегда наивные и глупые, часто трогательные и забавные, в большинстве случаев обманутые и исковерканные дети...»¹⁷

Сравнение женщин с детьми имело под собой еще одно основание: они были одинаково беззащитны перед существовавшим внизу общества мордобоем. Против всего, что стояло за пословицей: «Бей жену до детей, бей детей до людей»,¹⁸ выступил Достоевский. Он защищал то, что любил: женщин и детей. Иногда и те и другие объединялись у него в шемдящий от жалости образ изнасилованной девочки. Мало, что встречало у Достоевского такое же осуждение, как соединение ладострастия с жестокостью. Однако, само по себе сладострастие, какой-нибудь «изгибчик у Грушеньки», понятен даже Алеше Карамазову, когда ему говорит о том его грешный брат Дмитрий: «У Грушеньки, шельмы, есть один такой изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал...»¹⁹

«Ножки» встечаются в романе несколько раз, внимание к ним Достоевский не только унаследовал от Пушкина, тут оказался и собственный вкус. Об этом говорят его письма: «О, целую однако ж опять твои ножки. (Вычищено резинкой две троки). Целую его мысленно беспрерывно.»²⁰ «В мыслях целую тебя поминутно, целую и то, чем «восхищен и упоен я». Ах как целую, как целую! Анька, не говори, что это грубо, да ведь что же мне делать, таков я, меня уж нельзя судить. Ты зама.. врет ты мой, и вся надежда моя, что ты поймешь это все до последней утонченности. До свидания, ангел мой (ах, кабы поскорей свидание). Целую пальчики ног твоих, потом твои губки, потом опять (одно слово зачеркнуто).»²¹

Возможно, мы не приводили бы переписки Достоевского, если бы не окончание одного его письма: «Ты скажешь, что это только одна сторона и самая грубая. Нет, не грубая, да от нее, в сущности, и все остальное зависит. Но вот этого то ты и не хочешь понять. Чтоб окончить эту тираду, свидетельствую, что жажду расцеловать каждый пальчик на ножке вашей и достигну цели, увидишь. Пишешь: ну а если кто читает письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют.»²²

В письмах, в жизни и в творчестве прямою противоположностью Достоевскому был Гончаров. Сильные страсти не описываются в его произведениях и не угадываются за ними. Ему и Достоевскому довелось в жизни охарактеризовать друг друга. Достоевский, азартный игрок, раз с отвращением наблюдал, как расчетливо Гончаров играл на рулетке, а последний, по воспоминаниям современника, говорил, что «сочинений Достоевского почти никогда не читал, так как.. после них он по ночам кричит.»²³

То, что мы могли бы прочитать на эротическую тему у Салтыкова-Щедрина, всегда окрашено иронией. Это будет нечто вроде упоминания о градоначальнике, родом черкесе, увеличившем население города Глупова вдвое, оставившем «полезное при сем случае руководство» и умершем «от истощения сил.»²⁴

У обратившегося к Тургеневу может сложиться мнение, что любовь в его романах совершается где-то не на земле. В одном из последних рассказов «Клара Милич» Тургенев оправдывает произведенное впечатление: героиня умерла, но герой соединяется с ней в каком-то странном двойном сне; он как бы просыпается в другой реальности.

«Он ринулся к ней, он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы и он поцеловал их, он почувствовал их горячее прикосновение, он почувствовал даже

влажный холодок ее зубов и восторженный крик огласил полутемную комнату. Вбежавшая Платонида Николаевна нашла его в обмороке... бледное лицо дышало упоением безмерного счастья.»²⁵

Свидания героя с его неземной подругой продолжают. Во второй раз Платонида (наверно не случайно мы встречаем это имя) услышала «страшный пронзительный крик.» «Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову и по-вчерашнему нашла его на полу... Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос... В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео.. после отравы, говорил о заключенном, о совершенном браке, о том, что он знает теперь, что такое наслаждение.»²⁶

О важности земной основы любви много писал Розанов. Он чувствовал, что даже таинство брака недостаточно примиряет религиозное сознание с физической стороной любви. То, что предлагал Розанов на практике, вроде пристроек к храмам, где молодожены проводили бы первое время, не может не вызвать улыбки, так же как не может не вызвать сочувствия сама попытка освятить отношения полов.

По интересу, который в русском обществе до революции вызывала тема отношений между мужчиной и женщиной, можно было надеяться, что народу со временем будет привита высокая эротическая культура, но этому начинанию, как и многим другим, не суждено было сбыться.

• • •

Классик советской литературы Всеволод Иванов в своей книге «Дикие люди» вводит нас в совсем другое время, повествуя о красноармейском отряде: «И еще тяжело без баб. О бабах по ночам рассказывали матерные побаски, а когда

становилось непереносно — седлали лошадей и ловили в степи киргизок. И киргизки, заметив русских, покорно ложились на спину. Было нехорошо, противно их брать неподвижных, плотно закрытыми глазами. Будто грешили со скотом.»²⁷

В этом рассказе первыми жертвами борьбы за всеобщую справедливость²⁸ становятся киргизки. Неясно только, почему именно они сравниваются со скотом.

В двадцатых годах победители бурно обсуждали вопрос: «Будет ли при коммунизме так же легко утолить половое чувство, как выпить стакан воды?» По этому поводу Ленин высказал свою единственную верную мысль о том, что не одно и то же напиться из грязной лужи или из чистого источника.

Со временем советское ханжество заменило первоначальную неразборчивость. Символом подавленного чувства может служить рассказ из журнала, издававшегося в Соловецком концентрационном лагере. Повествование начинается с ритмического стука гробовой крышки в пустом гробу укрылись заключенный и заключенная.

В официальной советской литературе надолго возобладала одна любовь — любовь к партии. Мы не чувствуем себя в силах рассматривать это чудовищное извращение.

Со временем, слегка опомнившись от удара, некоторые новейшие русские литераторы бросились в другую крайность и эротическая тема опять проиграла, поскольку вульгарность превращает ее в порнографию. Впрочем, в ближайшее время, мы кажется должны быть избавлены от дальнейшего развития в этом направлении, так как Эдуард Лимонов поставил рекорд, который трудно превзойти, как трудно превзойти и нарциссизм автора:

«В этот момент я действительно был женщиной, капризной, требовательной и наверное соблазнительной, потому что я помню себя игриво вихляющим своей попкой, упершись руками в песок. Моя оттопыренная попка.. сладостно

изгибалась и помню, что ее голость, белость и беззащитность доставляли мне величайшее удовольствие...»⁹

Как нежно Эдичка любит себя, можно судить по тому, что сплошь заполнив повествование ругательствами, он вдруг, говоря о себе, склонен употреблять словосочетания вроде «анальное отверстие». В тексте Лимонова это уже начинает звучать смешным эфвемизмом, вроде того, как Бальмонт называл тайные прелести своей возлюбленной Зачарованный Грот.¹⁰

Только одному из современных русских писателей не повредила точность описаний Венедикту Ерофееву. Поэма «Москва Петушки» настоящая мениппея, и смешение высокого и низкого для нее традиционно. Ерофеев обладает способностью эстетизировать самые рискованные положения:

«Она сама сама сделала за меня выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкой. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины... И как небо и земля живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я.. весь задрожал. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках весь влажный и содрогающийся вход в Эдем... О, всхлипывание этих недр!... О, блудница с глазами как облака! О, сладостный пуп!»¹¹ «Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она.....? Ну что вам ответить. Ну, конечно, она...! Еще бы она не.....!»¹²

К счастью, точки принадлежат не цензуре, а самому Ерофееву, тоже иногда употребляющему крепкое слово, но как-то к месту, чего не скажешь о других. В последнее время оказалось забыто, что, не прибегая к мату, можно говорить решительно обо всем, беря пример хотя бы с автора трехтомной «Истории нравов», поведавшего о том, как «одна монашенка заставила какого-то герцога вдоль и поперек изъездить трану нежности, прежде чем впустила в столицу

наслаждения».

Для нас умение говорить тем более важно, что совет Овидия: «Нежным и грубым словам равное место в любви»¹¹, - не годится для русского языка.

О «ШУМЕ ВРЕМЕНИ».

«Воля поэта поднимает музыку до рассказа».

Георгий Адамович.

Открывая воспоминания Осипа Мандельштама, читаем странное для мемуариста признание: «Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое.»¹ Цель автора, все-таки принявшегося за мемуары, раскрывается в пояснении: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени.»²

Отведя «всему личному» второстепенное место, Мандельштам указывает на «шум и прорастание времени», как на прямых героев повествования. Оговорка «если бы от меня зависело» скорее всего относится к тому, что прямые герои выводятся через отобранное и подчиненное личное, очевидностью распадающееся на четыре темы, в направлении которых работает память автора. Это: шум и музыка, литература, «хаос иудейский» и революция.

Книга начинается с предельно-сильного, емкого по значению движения во времени. Общее название работы, появившейся в 1925 году, «Шум времени», а название первой главы, содержание которой относится к 90-м годам, «Музыка в Павловске». Встреча музыки прошлого и шума настоящего, происшедшая в заглавиях, предвосхищает ритмическую организацию произведения.

Вслед знаменательным названиям идут три предложения, которые последовательно оканчиваются словами: умирающий век, смена династий, умирающая жизнь. Первое предложение полужитата из Александра Блока, чье имя упоминается в книге чаще, чем любое другое: «Я помню хорошо глухие годы России девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм тихую заводь: последнее прибежище умирающего века.»³

Между современной Мандельштаму действительностью и началом воспоминаний примерно тридцать лет время жизни одного поколения, «рожденного в года глухие». Жизнь круто изменилась, отобрав возможность высокого стиля, и уже не напишешь, как еще недавно это сделал Блок, о музыке в глубине мироздания, но, используя воспоминания ребенка, можно написать о минувшем быте: шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин в центре мира.»⁴

Так блоковская концепция музыкальной организации всего

сущего дается в соответствии с духом (и шумом) времени в сниженном образе стеклянного вокзала с конкретным дирижером Галкиным за пультом в центре.

О настоящем и неотвратимом движении времени напоминают вокзальные свистки паровозов и железнодорожные звонки, которые «мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года.»⁵ Последовательные вторжения звуковой стихии обнаруживают скрыто-музыкальный характер произведения. Время в нем «прорастает» сквозь шум, музыку и молчание:

Глава первая. В повествовании упоминается тенор, потерявший голос к началу 1900-х годов.

Глава третья. Разгон демонстрации сопровождает «протяжный, все возрастающий вой, ...переходящий в грозное завывание».

Глава седьмая. Симфонический оркестр исполняет «Смерть и просветление» Штрауса.

Глава восьмая. О концертах Гофмана и Кубелика: «Никакие позднейшие музыкальные торжества не идут в сравнение с этими.. оргиями в белоколонном зале. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое и предысторическое беспокойство, томившее тогдашний Петербург.»⁶

Начиная с десятой главы, повествующей о Сергее Ивановиче «репетиторе революции», упоминания о музыке исчезают, их сменяет растущий шум.

ЛИТЕРАТУРА.

Исчезающей музыке противостоит нарастающая тема литературы. Она начинается с четвертой главы, под названием «Книжный шкаф». Из четырнадцати глав книги это

единственная, в которой Мандельштам отступает от принятого им правила «говорить не о себе». По-видимости, речь идет о литературе, но книги столько же рассказывают об авторе, сколько автор о книгах. Через несколько глав Мандельштам замечает: «Разночинцу.. достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова».⁷

Книги из того конкретного шкафа, о котором идет речь, помогают рассказать биографию автора не только своим содержанием, но даже расположением на полках. Внизу еврейские книги «лежали как руины». «Над иудейскими развалинами начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гете... «Еще выше стояли материнские русские книги». Взгляд, пробежавший снизу вверх, останавливается на русских классиках, в размышления о которых ненавязчиво, но неизменно вплетается образ смерти.

О Пушкине: ...после тридцать седьмого года и кровь и стихи журчали иначе».

О Достоевском: «на нем лежал запрет, вроде могильной плиты...»

В восьмой главе о Тенишевском училище, где встречается похоронный марш Шопена, русские классики упоминаются в качестве покойников: «Литературный фонд по природе своей был поминальным учреждением: он читл. У него был точно разработанный годичный календарь... праздновались дни смерти и дни рождения... Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника».⁸

Тема литературы несколько затихает с главы о «репетиторе революции», чтобы стать основной в главе последней, являющейся перекрещением и окончанием всех четырех тем.

«ХАОС ИУДЕЙСКИЙ».

Так называется шестая глава воспоминаний и тема эта занимает самое меньшее место в книге, как самая личная. Напомним «Память моя враждебна всему личному.»

Мандельштам вспоминает, что не овладел древнееврейской азбукой и тогда, когда «в припадке национального раскаяния наняли было ко мне настоящего еврейского учителя»⁸ Язык, оставшийся чужим, вызывает у него ассоциации с шумом: «...дедушка вытащил из ящика комода черножелтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов.»¹⁰

Тема утробно-родной, но духовно-чуждой культуры возникает каждый раз будто специально для того, чтобы лишний раз оттолкнуться от нее, но одновременно видно, что в жизни Осипа Мандельштама она занимала большее место, чем в воспоминаниях: «Весь стройный мираж Петербурга был только тон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал.»¹¹

До того, как «хаос иудейский» становится названием главы, он уже упоминается в рассказе о книжном шкафе, где русские классики царствуют «над подавленным хаосом иудейским». Помимо книг, есть второй, не менее важный источник в приобщении к русской культуре, он в языке матери, противопоставленном «косноязычию и безъязычию» отца: «Речь матери ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь».¹²

РЕВОЛЮЦИЯ.

Эта тема то зримо, то незримо пронизывает все главы, часто заставляя другие мотивы работать на себя. Косвенная подача этой темы выгодно отличается от прямой, когда и сам переход на риторику выдает неискренность: «Да, я слышал живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир, набухает, чтобы упасть.»¹³ Режет слух и уподобление политической мысли Герцена бетховенской сонате, да еще «вечнозвучащей».

В неподцензурной, созданной через три года «Четвертой прозе», имя Герцена встречаем в ироническом контексте: «Александр Иванович Герцен!... Кажется, в вашем доме... Вы, как хозяин, в некотором роде отвечаете... Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность... Александр Иванович! барин! Как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!»¹⁴

В «Шуме времени» единственный знакомый революционер, Сергей Иванович, оказывается быстро приспособившимся обывателем, который и в пору своих революционных увлечений подается с издевкой, с многозначительными эпитетами: «О, мрачный авторитет Сергея Ивановича, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна!»¹⁵ Рядом читаем о нем же: ...сам он был похож на шпика...

Если в книге встречается упоминание о героике революции, то она отнесена скорее к прошлому веку: «Интеллигенция, предводимая светлыми личностями, в священном юродстве не разбирающими пути, определенно поворотила к самосожжению.»¹⁶ «Как высокие просмоленные факелы, горели всенародно народовольцы с Софьей Перовской, а эти все, вся провинциальная Россия и «учающаяся молодежь», сочувственно

тлели, не должно было остаться ни одного зеленого листика.»¹⁷

Под этими мыслями мог бы вполне подписаться В.В. Розанов, чье влияние на Мандельштама легко обнаружить. В содержании последней главы разлита мысль Розанова о том, что Россию убила литература,¹⁸ пир литературы уподоблен «Пиру во время чумы»:

«Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой Мэри,» мучительная просьба последнего пира.»¹⁹

Самое частое словосочетание последней главы «литературная злость». Тут же встречаем и «змеиный свист литературного анекдота» (что уже явственно составляет часть шума), и даже «злое и веселое шипение русских стихов», а когда читается строчка «На суку извилистом и чудном» «словно змеи повисли над партами, целый лес шелестящих змей».²⁰

Учитель литературы, о котором в последней главе идет речь, весь полон уязвленного самолюбия и все той же «литературной злости», которую передает детям вместе с историей литературы, начинающейся «с Радищева». А еще мы узнаем об учителе, чтобы не было сомнения в его причастности к «Пиру во время чумы», что «предсмертие было в самой его природе, мучило его и будоражило, питая усыхающие корни его духовного существа.»²¹ Учитель живет литературой и даже «во сне помнит дикие стихи Случевского «Казнь в Женеве.»»²²

После всего, что в завершающей главе сказано о литературе, не слишком удивляешься, когда встречаешь, что

литература это «зверь», определение, чаще всего даваемое в поэзии Мандельштама веку: «Век мой, зверь мой... Мне на шею бросается век-волкодав...

Так в конце, под змеинное шипение и змеинный свист вместо исчезнувшей музыки, сошлись и оказались близкими: литература, революция, век, зверь.

БУДЕТЛЯНИН.

«И Бог заплачет над моею книжкой!»'

В. Маяковский.

Было бы несправедливо отрицать, что Владимиру Маяковскому по-своему удалось сказать о своем времени. Было бы преувеличением утверждать, что он сделал это так, как хотел сам. Для этого силе его чувств не хватало настоящей цельности. Был в нем, замеченный Архангельским, краешек восхищения тем, что он ненавидел:

«Дома,
 доложу вам,
 по сто этажей.
Фокстротируют
 американочки.

А мне
на них
свысока
наплевать.
Известное дело
буржуйская лавочка.
Плону раз
мамочка мать!
Плону другой
мать моя мамочка!
Танцуют буржуи
и хоть бы хны.
Видать, не привыкли
к гостю московскому.
У меня
уже
не хватило
слюны.
Шлите почтой.
Нью-Йорк Маяковскому.»²

Ту же двойственность обнаруживаем и в ниспровержении традиционного искусства. Маяковский верно заметил о футуризме, что у «нашей поэзии нет предшественников»,³ но его почему-то постоянно тянуло говорить с великими тенями. Рассказав нам, как он потолковал с Пушкиным, Маяковский встречается с Верленом. Несмотря на то, что Верлен во время разговора пил свой абсент, Маяковский обращается к нему с такими выражениями:

«Бумаги
гладь
облеывая

пером,
концом губы
поэт,
как б.... рублевая,
живет
с словом любим.»⁴

Находясь в таких коротких отношениях со словами и поэтами, Маяковский раздает множество отметок за достижения в поэзии и, возможно, поэтому было бы справедливо привести мнения разных поэтов о Маяковском.

Борис Пастернак восхищен ранним Маяковским, называя его поэзию «демонической». В то же время Пастернак пишет: ...позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно.»⁵ Время создания «Мистерии-буфф» 1918 год и, следовательно, из тринадцати томов сочинений Маяковского Пастернак принимает только первый.

Судя по фразе: «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта»,⁶ Марина Цветаева во многом согласна с оценкой Пастернака. Она, в целом, считает Маяковского сильным поэтом, но в статье, где мы можем прочесть о нем «Искусство при свете совести», делает многозначительную оговорку: «Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду...?»⁷

Иван Бунин, не говоря уже о правде, не разделял мнения и относительно силы: ...Маяковский, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха...»⁸ Бунину, говоря о Маяковском, удалось успокоиться

только к концу очерка: «...в будущей свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.»⁹

Другой поэт, Владислав Ходасевич, посвятил Маяковскому эссе, где главное из того, что он говорит, выражено словами: «Богатства, накопленные человеческой мыслью, он (Маяковский А.О.) выволок на базар и изысканное опошил, ложное упростил, тонкое огрубил, глубокое обмелил, возвышенное принизил и втоптал в грязь.»¹⁰

Аргументом в защиту творчества Маяковского обычно служит указание на его необычайность. Действительно, чего только в этом веке не прощали за новизну. Со временем все-таки придется вспомнить, что история искусства и история модной одежды не одно и то же. Впрочем, и новизна Маяковского ставилась поэтами под сомнение. Собрат по футуризму, Бенедикт Лившиц, вспоминает:

«Я не видел оснований церемониться с Маяковским и недвусмысленно дал ему понять, что стихи мне не нравятся. Наивный урбанизм, подхватывающий брюсовскую традицию, и не менее наивный антропоморфизм, вконец испошленный Леонидом Андреевым, не искупались ни двумя-тремя неожиданными образами, ни обратной рифмой, которую Володя Маяковский был готов объявить чуть ли не рычагом Архимеда, способным сдвинуть с оси всю мировую поэзию, и слабо вязались с горделивым утверждением о «выплываемом нами, навязшем на наших зубах, прошлом.»¹¹

Много резче Бенедикта Лившица высказывается на ту же тему Владислав Ходасевич: «Практическому и жадному дикарю, каким он был, в отличие от визионера Хлебникова..- в «зауми» делать было, конечно, нечего. И вот, не высказываясь открыто, не споря с главарями партии, Маяковский подменил борьбу содержанием..- огрублением содержания.. Было у футуристов некое «безумство храбрых», они шли до конца. Маяковский не

только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и преуспел. Он уничтожил все, во имя чего было выкинуто знамя переворота, но переведя капитал футуризма, его рекламу, на свое имя, сохранил славу новатора и революционера в поэзии.»¹²

Возможно, на резкость суждений имело влияние личное отношение. Так, Бунин вспоминает, как на званом обеде по сигналу Маяковского его «сподвижники.. заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать.»¹³ По реакции одного финского художника видно, что не только на Бунина это произвело тягостное впечатление: «..он, очевидно потрясенный до глубины этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных: «Много! Многоо!»¹⁴

Если бы мы захотели прочесть что-нибудь положительное о Маяковском, нам следовало бы обратиться к сведениям, исходящим из его окружения послереволюционного времени. Как пишет поэт Николай Асеев: «Общею для друзей Маяковского была восторженность; восторгались им самим,, его стихами, его советским обликом нового человека.»¹⁵

Воспоминания Владислава Ходасевича предваряются замечанием о том, что у него была не личная, а литературная вражда с Маяковским, однако в его мемуарах встречаем, как в начале войны, «став на тумбу, читал Маяковский стихи кровожадные и немцеедские «до отказа»:

О панталоны венских кокотов
Вытрем наши штыки!

И, размахивая плащом, без шапки, вел по Тверской одну из тех патриотических толп, от которых всегда сторонился

патриотизм истинный. Год спустя, точно так же, водил он орду громил и хулиганов героическим приступом брать витрины немецких фирм... Он пристал к октябрю именно потому, что расслышал в нем рев погрома.»¹⁶

Ходасевич не приводит примеров из творчества Маяковского, подтверждающих принятие погрома, но всякий, кто возьмет на себя труд разобраться в тринадцати томах, найдет много выразительных мест на эту тему:

Громили Василия Блаженного.
Я не стал теряться.
Радостный,
Вышел на пушечный зов.»¹⁷

Возможно, нам будут объяснять, что это только стремление эпатировать, но мы возьмем на себя смелость утверждать, что уже никакой контекст не может спасти следующие «эпатирующие» места из его произведений:

«Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие Толстых!
За ногу худую !
По камню бородой!»¹⁸

«дайте
любую
красивую
юнью,-
души не растрachu
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей»¹⁹

«А мы
не Корнея с каким-то Расином
отца,-
предложи на старье меняться,-
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим
для иллюминации.»²⁰

Это образцы раннего, без кавычек демонического, Маяковского, вскоре перешедшего к внесению стройности в погром посредством левых, самых левых маршей, передававших слово «товарищу маузеру». Ту же пулеметную очередь стиха Маяковского встречаем в «150 000 000»:

«Пули, погуше!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!»²¹

Единственное, что должна уважать такая поэзия, это сила. Об этом по-своему говорит Цветаева: «Не прощает

Маяковский, в конце концов, только немощи. Вспомним.. гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающимся как последнее видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле в рост трагедии.»²² Приведем строки, о которых пишет Цветаева:

Глядя
на ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске...
и над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
под пули
в лодку прыгнул...

Согласимся с Цветаевой, что этот отрывок так силен, что даже идущее вслед белой гвардии злорадное напутствие действует совсем не так, как предполагал Маяковский. Мы чувствуем острую жалость к ушедшим, когда читаем:

«Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским...

Почему это происходит? Ответ, как ни странно, можно прочитать у того же Маяковского:

...вдруг
уничтожились все середины.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет –
кроме
цвета, красящего в белый цвет
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багровей,
Белое все белей и белее.»²⁵

Через несколько страниц в той же поэме «150 000 000» читаем то, что, по мысли автора, должно вызвать у нас прилив радостных чувств:

футуристы
прошлое разгромили
пустив по ветру культуришки конфетти.»

Подозревая, однако, что мы можем не разделить восторгов по этому поводу, нас, ликуя от победы, успокаивают заключительным видением:

«Авелем называйте
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!..
И только что
мира пол зажавший,
Каин гением взялся за луч,
Как музыкант берется за клавиши.»²⁶

Маяковский явно не лгал, признавшись когда-то: «Между мной и музыкой древние контры».²⁷ Грандиозный образ Каина, уподобленного музыканту, венчает победу революции. Какова же будет музыка?

Нельзя сказать, чтобы Маяковский не задавал себе этот вопрос. Он, неожиданно назвавший себя «певун», так начал стихотворение «Солдаты Дзержинского»:

«Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело
тебе
до ГПУ?»

Оказалось, что дело есть, и Маяковский может самих чекистов поучить бдительности. Он заключает это стихотворение:

«Есть твердолобые
вокруг
и внутри
зорче
и в оба
смотри чекист.»²⁸

Маяковский был не из тех людей, которые от слов не переходят к делу. Когда для погрома отечественной инженерии был сфабрикован Шахтинский процесс, в «Комсомольской правде» 7 июля 1928 года можно было прочитать стихотворение Маяковского «Вредитель», начинавшееся словами:

«Меня
презрение
и ненависть несут
под крыши
инженеровых квартирок.

О том, чем инженеры вызвали такое отношение, мы узнаем дальше. Оказывается, инженер-вредитель

«вносил
рублей на сто
ошибок в чертежи...
А после
тыкался по консулам
великих
аппетитами держав...
Докладывал,
что пущено на слом,
и удалялся,
мятенький
долларчик сжав.»

Ободренный «долларчиком»

«..он
скарежен
классовою злобою,

идет неслышно
портить вентилятор,
чтобы шахтеры
были
задыхаясь по забоям...»²⁹

Не только ГПУ, но и другие ведомства получали помощь и советы Маяковского. Как-то его задело, что Шаляпин дал 5000 франков священнику на помощь русским безработным в Париже. Стихотворение, посвященное этому случаю, кончалось так:

«С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный венок!»³⁰

В стихотворении «Когда мы побеждали голодное лихо, что делал патриарх Тихон?» Маяковский указывает на патриарха, как на виновника голода в Поволжье, но и этого науськивания ему кажется мало:

«Родных погибших вспоминая лица,
знайте:
Тихон
патриарх
благословлял убийцу.»³¹

Если бы Маяковский понимал искусство глубже, чем это было ему дано, он не вводил бы в свое творчество вечные образы, ибо не он добавляет что-либо к ним, а они рассказывают о нем. Попытка Маяковского быть ироничным

при подходе к великому оказывается тщетной, рассказ ведет кто-то другой:

«Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах
словесные бои.
Колокола без языков
немые словно.
По Божьим престолом
похабничают воробы.
Без веры
и нравственности ищем напрасно.»¹¹

Было бы лучше для Маяковского вовсе не обращаться к трагическому в русской истории, но он делал это, и так мы узнаем о его способности глумиться над замученными. В стихотворении «Император», рассказывая о Николае II, Маяковский пишет:

«Перед ним,
как чурки,
четыре дочурки.»¹²

Приведенное предложение заставляет нас задуматься о том, не ставит ли оно его автора, в некотором отношении, вне поэзии? Не вошло ли в поэзию вместе с действительностью 20-го века еще одно измерение?... Может быть, этот вопрос был решен в одном споре Осипа Мандельштама с Анной Ахматовой. Отстаивая высокое место, занимаемое Есениным в поэзии, Мандельштам привел в подтверждение строчку его стихов: «Не расстреливал несчастных по темницам...» Этот довод убедил Ахматову.

Все, случившееся с Россией, вероятно, устраивало Маяковского и, добравшись до Америки, он был готов давать советы в духе той партии, к которой принадлежал. Увидев на Бродвее девушку, точащую для рекламы бритвы, Маяковский обращается к ней:

«Выйдь,
окно разломай,-
а бритвы раздай
для жирных горл.»³⁴

Интересно было бы проследить путь его советов, вплоть до их практического применения, тем более, что за Маяковским уже столько лет стоит вся мощь современной пропагандистской машины...

Была у Маяковского своя мечта. Пьеса «Клоп» рассказывает о ней названиями газет прекрасного будущего: «Известия Чикагского совета», «Варшавская комсомольская правда», «Римская красная газета», «Шанхайская беднота», «Мадридская батрачка» и «Кабульский пионер».³⁵ Очень может быть, что последняя газета уже существует, учитывая новейшие преобразования Афганистана.

Серьезность отношения к будущему равнялась у Маяковского только серьезности его отношения к вождям. Ему удалось в своих произведениях перечислить все их имена. Художественная удача ждала его, как всегда, неожиданно, не тогда, когда создавалась поэма «Владимир Ильич Ленин, а раньше, в 1917 году, в поэме «Человек»:

«Их тот же лысый
невидимо водит
главный танцмейстер земного канкана
то в виде идеи,
то черта вроде...»

Смутные догадки сопровождали все творчество Маяковского. Поэму о себе, что под названием «Облако в штанах», хотел он сначала назвать «Тринадцатый апостол. Следы этого сохранились:

«Я.. может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.»⁷

Маяковский жил во время, когда было кому ценить рифму «Растрелли расстреливай» и потому за исполнение роли тринадцатого апостола по отношению к культуре, он удостоился похвалы того, кто был для России неизмеримо страшнее татарского ига: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.» (Сталин.)

ВОЖДИ И ЛИТЕРАТУРА.

Однажды Ленин, когда зашла речь о «Преступлении и наказании», произнес: «Да, о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопался о землю?»

Вероятно, одобрение Ленина заслужили не только убийство, но и мысли Раскольникова, обосновавшие преступление. Среди них была и такая: «Одна смерть и сто жизней взамен да ведь тут арифметика!»

Следы подобной арифметики есть и у Ленина, писавшего к примеру, что, несмотря на страшные жертвы, которые понесут рабочие в мировой войне, «в конечном итоге» пролетариат от нее выиграет.

В созданном при жизни Ленина романе «Мы», Замятин так изображает диктатора, которого люди зовут Благодетель: «Передо мной сидел лысый, сократовски-лысый человек.»¹ Вслушаемся в речи Благодетеля: «...истинная, алгебраическая любовь к человечеству непременно бесчеловечна.»²

Мысли диктатора из романа «Мы» получают широкое хождение. Некто, выведенный под именем Д-503, записывает в дневнике: «...ни один из Кантов, не догадался построить систему научной этики, т.е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении.»³

Обладающий подобной этикой не знает сомнений, даже если он занимается переустройством мира, не говоря уже о таких вещах, как руководство литературой. За пятнадцать лет до того, как попасть на страницы романа «Мы», Ленин пишет: «Все газеты, журналы, издательства должны приняться за подготовку такого положения, чтобы они входили целиком на тех или иных началах в те или иные партийные организации.»⁴

Необремененный юмором, ищущий оптимальное решение в рамках «алгебраической этики», Ленин не замечает, что совершил плагиат из «Проекта о введении единомыслия в России», принадлежащего Козьме Пруткову: «...целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет.. Велеть всем.. перепечатывать руководящие статьи из официального органа, позволяя себе только их повторение и развитие.»⁵

Совершив литературное воровство, Ленин все-таки идет дальше Козьмы Пруткова и так продолжает статью: «...мы создадим свободную печать.. в смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма.»⁶

Затем Ленин считает нужным оговориться (шел еще 1905 год) насчет своего понимания свободы: «Эти последние слова покажутся парадоксом или насмешкой над читателями. Как!

закричит, пожалуй, какой-нибудь интеллигент, пылкий поклонник свободы.»⁷

Ленин отвечает интеллигенту: «По существу дела, подобные вопли были бы только выражением буржуазно интеллигентского индивидуализма.»⁸

Пройдет время, и Сталин, отвечая Демьяну Бедному, скажет о «пустых ламентациях перетрусившего интеллигента, перепугу болтающего о том, что Демьяна.. «не будут больше печатать.»⁹

Бедный, вероятно, хорошо понимал, что такое печать, «свободная от индивидуализма», судя по обращенным к нему словам Сталина: «Вы расцениваете решение ЦК, как «петлю», как признак того, что «пришел час моей, (т.е. Вашей) катастрофы»¹⁰

Статья Ленина о партийной литературе использовалась и вождями помельче. В докладе 1946 года Жданов цитировал оттуда же: «Долой литераторов беспартийных!» С этим кличем Жданов обрушился на Зощенко и Ахматову. Об Анне Андреевне вождь выразился так: «До убожества ограничен диапазон ее поэзии, - поэзии взбесившейся барыньки....»¹¹ Другой мастер вызвал в Жданове еще большее негодование: «Насквозь гнилая и растленная политическая и литературная физиономия Зощенко.»¹²

Мемуары Эренбурга свидетельствуют о том, что Жданов наставлял не одних писателей: «В начале 1948 года Прокофьев и Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и, желая показать, что такое «мелодичная музыка», не похожая на ошибочные произведения, что-то наигрывал на рояле.»¹³

Нужды партийной работы не оставляли вождям времени для знакомства с литературой, чего, впрочем, не скажешь о специально назначенных товарищах. Анатолию Васильевичу Луначарскому нельзя отказать в образованности. Луначарский

всегда демонстрировал понимание, если оно не шло вразрез с требуемой интерпретацией. Говоря о пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных», он так изложил точку зрения автора: «...юнкера, студенты, массовое кадровое офицерство, которые шли против вас в гражданской войне, были жертвами..., среди них преобладали люди, верующие в Россию, искренне полагавшие, что они ее спасут...»¹⁴

И далее Луначарский не ошибся, сказав об авторе: «Ему кажется очень важным, что Алексей и Николай Турбины... люди храбрые, прямые, порядочные.»¹⁵ Все это, однако, не помешало Луначарскому закончить словами: «...недостатки булгаковской пьесы вытекают из глубокого мещанства их автора... Он сам является политическим недотепой, по примеру своих героев.»¹⁶

Чтобы проделать путь к этому выводу, Луначарскому пришлось в середине статьи написать о Булгакове: «...ему нравятся сомнительные, заезженные остроты..., атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля.»¹⁷

В мае 1927 года на партийном совещании по вопросам театра, говоря о другой пьесе Булгакова, Луначарский обратился с просьбой, которую мы охотно выполняем: «Я прошу зафиксировать, что я четыре раза говорил о том, чтобы не пропускать «Зойкину квартиру»».¹⁸

Эти слова Луначарского о пьесе мастера дадим прокомментировать Маргарите: «Латунский завизжала Маргарита... Да ведь это же он! Это он погубил мастера.»¹⁹

Фамилии Луначарского и критика Латунского из «Мастера и Маргариты» подозрительно совпадают в сокращении (Л-ский), как и блеск луны (Луна-чарский) совпадает с блеском латуни. Когда, остановившись перед квартирой критика, Маргарита читает надпись О. Латунский, мы чувствуем, что не хватает только восклицательного знака. В адрес кого?

В статьях, заставивших мастера сжечь свой роман, призывали «ударить и крепко ударить по пилатчине». В статье Луначарского «Боги хороши после смерти» можно встретить сходное словосочетание «ударить по церкви»²⁰

В «Мастере и Маргарите» подчеркнут редкий по развязности тон критических выступлений и, если обратимся к выступлению Луначарского на диспуте с митрополитом Введенским, встретим тот же тон: «Гражданин Введенский.. сказал, что всякому хочется, чтобы Иисус был в его лагере. Ну, а я скажу, что нам этого не хочется. Нам Иисус не нужен.»²¹

Так, за врагом мастера вырисовывается развязный, уверенный в своей силе нарком. О том, как действует на художника травля, исходящая от комиссара, рассказывает сам мастер: «Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся.. Второй стадией была стадия удивления. А затем наступила третья стадия страха.. я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне потушить лампу.. как мне казалось, что через оконце.. влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами..»

Спрут, терзающий в бреду явно, действует и в реальности, но тайно, распознать его можно по щупальцам.

Когда мастер приходит с романом в редакцию, ему говорят, что с рукописью должны ознакомиться члены редакционной коллегии Латунский и Лаврович. Фамилия последнего, если мы последовательно возьмем три первые буквы и конечную, дадут нам инициалы Л.А.В-ч. (Луначарский Анатолий Васильевич). Кстати, Лавровича зовут Мстислав (мсти, славь). Через две недели в той же редакции мастеру сообщает решение секретарша со скошенными от постоянного вранья глазами». Фамилия секретарши Лапшенникова и общепринятое сокращение (Л-ва) ведет нас к знакомым инициалам Л.В.А.

Среди членов той же редакционной коллегии числится Ариман, первая и последняя буквы фамилии которого (А-н), дадут обычное сокращение имени Анатолий Ан.

Раз пройдясь по имени и трижды по фамилии, Булгаков должен был, вероятно, пару раз пройтись и по отчеству. Действительно, в соответствии с русской традицией вспоминать тех, кто произвел на свет (здесь наркома), отчеству учиняется полный разгром. На квартире Латунского, которую громит Маргарита, стоит номер 84 (восемьдесят четыре В-ч, Васильевич). Второй раз мы узнаем о сходном сочетании цифр, читая, что квартира Латунского находится на восьмом этаже, а свое буйство Маргарита заканчивает на четвертом. Так выполняется программа «мсти-славь»: имя врага подается в будущее с нарастающим эхом: Анатолий, Васильевич-Васильевич, Луначарский-Луначарский-Луначарский

Одно из имен многоликого врага Ариман говорит не только о том, кто возглавлял комиссариат просвещения, но и о том, от кого исходит советское просвещение. Ариманом называли в Греции персидского Анхра-Манью, олицетворявшего в зороастризме злое начало. Возможно, и зороастризм выбран неслучайно и содержит намек на пристрастие Луначарского к цитатам из Ницше, к примеру, «Боги хороши после смерти».

Тень врага встречается в романе повсюду. Фрагменты речи Луначарского на диспуте с митрополитом Введенским звучат у читающего «нечто вроде лекции об Иисусе» председателя МАССОЛИТа. Уж не за это ли ему вскоре отрежет голову «русская женщина, комсомолка»?

Имя поэта Ивана Бездомного опять приводит нас к Луначарскому, автору пьесы «Иван в раю». И «Бездомным» поэт, наверное, стал неслучайно. В пьесе Луначарского Иван так обращается к Богу: «Сделал Ты их собаками хозяина. Приласкал и забыл». В пьесе, как и в романе, Иван сталкивается с потусторонним, недоумевает и вопрошает:

«Бог всемогущий, всезнающий,
Как создал Ты мир стонающий
И дорогу в ад.»²²

ОТ НИГИЛИЗМА К «НЕГИЛИЗМУ»

Слова могут мельчать или забываться, но это не всегда будет означать, что явления, стоящие за ними, исчезли. Встретив слово нигилист, читатель, наверно, вспомнит тургеневского Базарова, названного в «Бесах» «неясная смесь Ноздрева с Байроном». Слово «негилизм», вероятно, не скажет читателю ничего, хотя оно придумано более ста лет назад и обозначает явление, добивающее нас сейчас.

Но сначала о нигилизме — это понятие имеет более почтенный возраст. Нигилистом в средние века называли человека, не верящего в божественную сущность Христа. В России это слово получило права гражданства в пушкинскую пору, когда критик Надеждин употребил его в смысле «ничтожество». Свой современный смысл слово обрело у Каткова, из его статей оно переключалось на страницы тургеневского романа, стало популярным в России и попало на Запад. В одной из записей Ницше можно прочесть: «В Петербурге меня называли бы нигилистом.»

Впрочем, у большинства западных читателей за словом «нигилист» возникал образ бросающего бомбу русского террориста. В России, однако, нигилизм был столько же практикой, сколько теорией, существуя в качестве направления в левой критике, программа которого хотя и не высказывалась прямо, но на деле была сформулирована коротко и давно, еще перед Великой французской революцией:

«Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.»

По невыясненным до сих пор причинам, после этого должно было наступить всесветное блаженство, в попытках достичь которое считалось возможным любое посягательство. По свидетельству Достоевского один «ярый западник» на замечание: «Этого народ не позволит», ответил «спокойно и величаво»: «Так уничтожить народ!» Эта мрачная программа борьбы за всеобщее счастье предполагала и то, что Достоевский с издевкой называл «возвышением» народа «до себя». На практике это означало духовную гибель, ибо «народы существа нравственные» (Чаадаев), а путь «возвышения» шел через разрушение религии, которая есть «нервная система славянства» (Константин Леонтьев).

«Ярый западник» явно исповедовал нигилизм. Но, как бы мы ни относились к последователям этого учения, следует признать, что лично нигилисты не были так безнадежны, как их доктрина. О нигилисте, во всяком случае, нельзя сказать «ни холоден, ни горяч», что, может быть, требует пояснения. В «Откровении Иоанна Богослова» есть такие слова: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч, о если бы ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих».

Это место из Апокалипсиса служит предметом беседы святого и злодея в «Бесах» Достоевского, где устами старца Тихона сказано: «Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет.»

У нигилизма своя трагедия: уходя, он дал жизнь тому, что презирал больше всего. Преемник нигилизма был замечен еще Лесковым в романе «На ножах» и назван «негилизм». Слово происходит от сочетания «не гиль» (не вздор). Негилиста не интересуют идеи, то есть вздор, он озабочен только своим преуспеянием и готов достичь его любой ценой.

Неясная прежде «смесь Ноздрева с Байроном» отстоялась. Стало видно, что Ноздрев, призвав на помощь могучего Собакевича, одолел лорда Байрона. Победа гоголевских героев естественна, если вспомнить о прежней неустойчивости смеси, о том, что писал о Базарове и людях его типа классик нигилистической критики Дмитрий Писарев: «Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им грабить и убивать...

Во второй части романа Лескова, названной «Бездна бездну призывает», негиллист Павел Горданов устраивает смотр предшественникам и находит Раскольникова достойным презрения «за его привычку беспрестанно чесать душевные мозоли». Базаров, по мнению Горданова, «неумен, потому, что ссорился с людьми». Лишенный недостатков прешественников, Павел Горданов все же терпит поражение, и в смерти его символическое сходство и символическая разница с гибелью Базарова. Как и Базаров, умирает Горданов от трупного яда, но это яд не анатомируемого, а убитого им человека.

ЗАЖИВО ПОХОРОНЕННЫЙ.

*«мир.. с наслаждением поспешил
сострадательно оплакать его
видимый смех и злорадно
осмеять его скрытые слезы.»*

В.О. Ключевский о Гоголе.¹

Время есть незримый соавтор писателя, то усиливающий, то ослабляющий действенность его произведений. От времени зависят их прижизненный успех или непонятость. Творчеству Гоголя суждено и то и другое, но было бы ошибкой возлагать вину за непонятость только на его современников. До сих пор мы не вчитались в последние незавершенные строки «Мертвых душ»: «Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется и мы едва...»²

Кажется само провидение, словно озабоченное исполнением пророчества Чаадаева о том, что мы живем, «чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений», не дало дописать Гоголю эту фразу или не донесло до нас ее окончание. Мало кем разделенная тревога за исполнение обязанностей земной должности не оставляла Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» содержат страшное предчувствие: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся.»

Книгу ждала критическая реакция, сравнимая только ответом на «Бесы» Достоевского. Негодование было так велико, что с книги переносилось на личность автора и, если в отношении Достоевского было высказано сомнение в психической полноценности,¹ то Гоголя недвусмысленно обвинили в корыстном прислуживании властям предержавшим.² По словам самого Гоголя: «...много было таких обвинений, от которых содрогнулось во мне сердце и которых я бы, может быть не в силах был бы сделать и дурному человеку.»³

Возможно, время должно было перенести нас от «мы едва...» к «мы уже...» чтобы с такой очевидностью предстала несправедливость обвинений. Не знаешь, верить ли «неистовому Виссариону» в том, что он «сто раз» перечитывал книгу. Если так, то почему же он прошел мимо слов, обращенных к помещику: «Мужика не бей.» Мимо слов, обращенных к «христианам»: «Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в дома.. и думают, что они христиане!»

Невозможность открыто выступить против христианских основ мирозерцания Гоголя заставляла строить критику на сознательном недопонимании, на подмене аргументов пустой риторикой с переходом на личности: «Проповедник кнута,

апостол невежества и мракобесия, панегирист татарских нравов что Вы делаете?» вопрошал Белинский, взявшийся сразу после этих слов наставлять Гоголя в том, что есть истинно христианский дух.

Подобную исходно-ложную позицию занял не один Белинский. В своих заметках Ключевский выделил такую категорию критиков Гоголя: «Бранили его злые люди, целомудренно щетинясь во имя христианской любви и гражданской благопристойности, над которой они внутренне смеялись и которую оскорбляли самой возможностью своего существования.»⁴

Беснование критики, вероятно, приблизило страшную кончину Гоголя. В «Авторской исповеди» есть слова, напоминающие нам о предсмертном страхе Гоголя быть похороненным заживо. Эти слова прямо относятся к учиненной над ним критической расправе: «Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот».

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА.

(Сквозь дневники и мемуары.)

*«Двадцатый век.. Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла».*

А. Блок. «Возмездие».

С январем 1918 года, с месяцем когда были созданы «Двенадцать», музыка, прежде слышимая Блоком, исчезла. Одна из записей в блоковском дневнике сближает сферы музыкального и этического.¹ Вслед за Блоком сближим и мы в его дневниках и записных книжках этого времени то, что имеет отношение к музыке и к этике.

3 января. В гостях Есенин. Читал «Инонию». Отмечены строчки:

«Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.»²

Запись, относящаяся ко дням, последовавшим сразу же после 3-го января: «Слышал гул, гул: думал, что началось землетрясение».³

7-го января. Набросан план пьесы о Христе, в которой нашлось доброе слово для Иуды: «Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность)».⁴ Из набросков узнаем о Христе, что он грешен. Это не единственная из записей о нем. Через три недели после окончания «Двенадцати»: «Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы не достойны Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой».⁵ (Помнил ли Блок, выводя слово «другой» с большой буквы, о пророчестве Константина Леонтьева? Что Россия должна родить из своих недр Антихриста и погибнуть?)

Еще через три недели в дневнике появится: «...если взглянуть в столбы метели на этом пути, то увидишь Иисуса Христа. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак.»⁶

28-го января. Окончены «Двенадцать».

29-го января: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг.»⁷

Если бы после этого появилась запись «Дальнейшее молчанье», - она бы вполне соответствовала тому, что

произошло. В наступившем безмолвии, губительном для творчества, но, может быть, спасительном для души, началась переоценка ценностей. Следы ее в дневниках⁸ и, вероятно, мы знали бы о ней больше, если бы часть записных книжек не была сожжена перед смертью.

К записи от 29-го января и к тому, что случилось после, могут быть пояснением воспоминания Корнея Чуковского: «Он умер сейчас же после написания «Двенадцати» и «Скифов», потому, что именно тогда с ним случилось такое, что в сущности равносильно смерти... Все для него стало беззвучно, как в могиле. Он рассказывал, что, написав «Двенадцать», несколько дней подряд слышал не то шум не то гул, но после замолкло и это. Самую, казалось бы, шумную, крикливую и громкую эпоху он вдруг ощутил как беззвучие.»⁹

Через три года пришла болезнь, унесшая Блока. О ней пишет Георгий Иванов: «Врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро падавшие без явной причины силы, потом, когда он стал, неизвестно от чего, невыносимо страдать, ему стали впрыскивать морфий...

Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? Люба, хорошенько поищи, и сожги, все сожги». Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены, ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался, потом опять начинал: заставлял жену клясться, что она его не обманывает, вспоминая об экземпляре, отданном Брюсову, требовал везти себя в Москву. Я заставляю его отдать, я убью его...»¹⁰

В одном из последних писем Блока были слова: ...пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет». В последние дни Блок часто повторял: «Прости меня, Боже!»¹²

ПРЕДАННОЕ СОЛНЦЕ.

В феврале 1919 года Леонид Андреев обратился к европейским нациям с призывом «Спасите наши души». Он звал прийти на помощь России, «сплошь превращенной в пепел, огонь, убийство, разрушение, кладбище, темницы».¹ Сила обращения не сделала призыв действенным.

Нельзя было к тому, что произошло, отнестись более трагически, но можно было трезвее. За два месяца до того Марина Цветаева заметила опечатку в «Вестнике бедноты»: «Если бы иностранные правительства оставили в *ломое* русский народ». На полях Цветаева подписала: «Не беспокойтесь. Постоят постоят и оставят».²

Надежды и в самом деле было мало, да и кто может помочь во время, отмеченное строками, обращенными к Западу:

«Виновы ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?»

(А. Блок. «Синфы».)

Во времени было что-то фатально мешающее осмыслению, нечто оглушающее, может быть ляг давно скованных идеологических цепей, который в конце концов расслышал Александр Блок. Свидетельство тому в его последней речи: «Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался (курсив мой А.О.) нам совершенно противоположным.. вежливому голосу графа Бенкендорфа.»¹

Это понимание, несущее горечь и просветление, пришло бы много раньше, если бы не повсеместно распространившееся действие идейной «моровой язвы», некогда увиденной во сне Родионом Раскольниковым. Сон из «Преступления и наказания» стал явью, болезнь реальностью.

«Большевизм есть тяжелая духовная болезнь, которой заболел русский народ», - напишет Николай Бердяев. В этих словах сама преемственность образа говорит о принятии закономерности происшедшего, самого по себе настолько ужасного, что вполне естественно было усомниться в его смысле. «Ищут смысл истории и находят. А от копеечной свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин (тоже копеечные свечи) сожгли всю Россию». (Лев Шестов)

И принимая мнение о «копеечности свеч», нельзя все-таки согласиться в том, что происшедшее было случайно. Пожар не мог бы заняться, если бы задолго до него не сеяли неразумное, злое и преходящее. И сгорело не сразу и не только от разрушительных идей. Чтоб догорело все, нужны были люди, за

посильную плату поддерживавшие пожар тогда, когда над траной занимался новый день и всходило новое солнце.

Свой следующий сборник стихов Блок хотел назвать «Черный день».⁴ Книгу рассказов об этом времени Шмелев назвал «Солнце мертвых».⁵

За несколько дней до смерти Блока распространился слух о его помешательстве. Слух шел от начальника Петрогослитиздата Ионава, побывавшего у Блока и слышавшего, как умирающий отрекается от «Двенадцати». Уже на второй или третий день после этого посещения Брюсов, который в это время от приветствия тем, «кто меня уничтожит», перешел на службу к тем же лицам, подробно, с научными терминами, объяснял в «Кафе поэтов» характер помешательства Блока.⁶

Опережать руководящие директивы Валерию Брюсову было не впервой, несколько раньше ему довелось поставить такую резолюцию: «Стихи Марины Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и неотражающие соответственной современности, бесполезны.»⁷

Стиль Брюсова-цензора, отдающий мертвечиной всех будущих циркуляров, не мог быть иным при всей литературной опытности автора. Можно ли в самом деле выдумать хорошую фразу, если в ней должны сочетаться сразу две несуразности: неуместность суждения бюрократа о поэзии и поэта о полезности? Вероятно мы расширили бы наши знания о природе стиля, получив возможность исследовать донос Брюсова⁸ (о котором знаем: «Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства»)⁹ о политической неблагонадежности Владислава Ходасевича.

Если ко всему этому вспомнить о страсти Брюсова заседать

и председательствовать, то перед нами начнет уже вырисовываться некий архетип литератора-функционера советских времен и это избавит нас от необходимости говорить о других, имя которых легион.

В полных презрения к Брюсову воспоминаниях Вересаева со значением вставлен отрывок: «При царе горохе был он трепетной ланью... Но прошли годы, пришла смекалистость. Остановился, уразумел необходимость пьедестала, навалил гору бумаги, измазанной типографской краской, вскарабкался на вершину и оброс мохом... И вот он архитриклин на юбилеях, и тосты возглашает во славу ихтиозавров. Вот сам к лицу бессмертных сопричислен и первоприсутствует на сонмищах в василеостровском застенке.»¹⁰

Чтобы в наступившем черном дне современнику стали казаться равно неясными и прошлое и будущее, должны были расти «горы бумаги, измазанной типографской краской». Охотников истреблять с этой целью русский лес оказалось достаточно, потому как пришло предсказанное Чеховым время, «когда каждому подлецу в литературе будет где жить и умереть с честью». Резкое слово, употребленное Чеховым, оправдалось вполне, поскольку о литераторах подобного толка нельзя сказать: не ведали, что творили.

Как-то писатели, окружив известного литературного погромщика Ермилова, полушутя-полусерьезно пообещали побить его, если одним словом не скажет о советской литературе. Сардонически улыбаясь, Ермилов произнес: «Бесчеловечность!»

Случай этот наводит на мысль, что может существовать нечто дикое, но не странное само по себе. Странно в этом только то, что очевидное так долго не было ясным. Примеров тому много. Остановимся на одном. На четверостиший Николая Тихонова, появившемся в год смерти Блока:

«Он расскажет своей невесте
О забавной, живой игре,
Как громил он дома предместий
С бронепоездных батарей».

(«Орда».)¹²

Эти стихи не мешают критикам считать Тихонова учеником Николая Гумилева, написавшего на ту же тему:

«Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня».

С тех пор «ученики» создали множество менее удачных подделок и нам осталось радоваться только тому, что законы искусства ставят пределы даже фальшивкам. Всем профессиям в Советском Союзе написали по песне и только чекисты остались непрославленными. Вероятно композиторы понимали, что по благозвучию песня должна равняться сочетанию согласных К,Г и Б, а по искренности – частушке 1937-го года:

«Рано утром выйду я
С книжкой на крылечко.
Конституцию прочту
Застучит сердечко».

Похоже, что к многообразию подходов к литературе можно добавить еще один. Почему бы не рассматривать подобное творчество, как род наказания, наказания за измену сердцу нашей культуры, некогда увиденному Владимиром Соловьевым:

«Все кружась исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви».

Во мгле невысказанной фальши можно было оказаться только после невысказанного насилия, проповедь которого могла состояться при невысказанной путанице понятий. Представим себе небольшой коллаж: Ленин выступает в Афинском собрании со своей статьей «Партийная организация и партийная литература». Вероятно, приговор древних афинян был бы единодушен: «Что хочет от нас этот суеслов? Уж не хочет ли он убедить нас, что свободы не существует, а из всех несвобод лучшая та которую он нам предлагает?»

То, что было невозможным во времена, которым сопутствовала классическая ясность, оказалось возможным в России начала века, когда, в который раз, оправдались слова о пророке и отечестве. Василию Розанову, возможно, хватило знакомства со стилем партийных писаний, чтобы в «Уединенном» предсказать: «Новое здание, с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении».¹³

ПЕРЕД МОЛЧАНИЕМ.

После слов: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг», - Блок продолжает: «Этот шум слышал Гоголь.. Запись будет менее загадочной, если вспомнить, что Блок роднил музыкальное и этическое, что в последние годы он мысленно часто возвращался к «Переписке». Читая одно из последних писем Блока, вспоминаешь место из «Переписки», начинающееся словами: «Стонет весь умирающий состав мой... Письмо Блока содержит такое напутствие еще не родившемуся: «Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней.»¹

Томительное предчувствие Гоголя переходит в мрачную уверенность у Блока, с еще большим признанием ответственности, за которым у обоих стоит непритворный испуг перед своей музой. У Гоголя страх перед своими созданиями усиливался от непонятости их у современников. Особенность видения Гоголя не только от природы его дарования, но и от высокой, христианской требовательности к человеку. Взяв ее мерой, он увидел другой мир, доступный лишь взгляду христианина-сатирика. Читать об этом мире, не разделяя убеждений автора, значило входить в губительное заблуждение, вершиной которого было провозглашение Гоголя вождем «натуральной» школы.

Ясно видящий невидимое для других пророчествует, принадлежа будущему больше, чем настоящему. Увиденное в «Мертвых душах» залегало не столько в современности, сколько на некоей метафизической глубине. Поэтому и в следующем веке гоголевские образы ожили в самом точном описании революционного разгула. В сборнике «Из глубины», в статье «Духи русской революции», Бердяев пишет:

«Злые духи, которых видел Гоголь в их статике, вырвались на свободу и учиняют оргию. Их гримасы приводят в содрогание тело несчастной России...»¹ «Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь страны.»² Найдя место в революции и другим гоголевским героям, Бердяев приходит к выводу, что революция есть «финал гоголевской эпопеи».³

Путь героев Гоголя в революцию был долгим и свершался уже после смерти автора. Двенадцать героев Блока продолжали свой шаг на его глазах и чуть ли не с его санкции:

«Пальнем-ка пулей в Святую Русь... («Двенадцать».)

Было от чего прийти в отчаяние, тем более, что задолго до этого Блок не обманывался насчет источника своего вдохновения. Стихотворение «К музе» (1912 г.) начиналось словами: «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть...» Муза Александра Блока, внушающая трепет, мистическая гостья из пространства, лежащего по ту сторону добра и зла:

«И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.
Зла, добра ли? Ты вся не отсюда.»

Увидеть такой свою музу и не попытаться когда-нибудь сжечь хотя бы часть своих созданий мог бы только поэт с сильным, до смерти неослабевающим демоническим началом. Плавающие рукописи освещают истинное лицо художника и совсем не говорят о его безумии, даже если покушение на собственное творчество удастся вполне. Задумывались ли мы, какую тяжесть должен был нести человек, совместивший в себе сатирика и христианина?

Схожесть в смерти наполнила значением всегдашнюю тягу Блока к творчеству Гоголя, приводившую иногда и к прямому перенятию образа. Черновик одного из стихотворений Блока продолжается записью: ...слышите ли вы задыхающийся гон тройки? Видите ли ее, ныряющую по сугробам мертвой и пустынной равнины? Это Россия летит неведомо куда в сине-голубую пропасть времен.. Кто же проберется навстречу летящей тройке.. смелой рукой опрокинет демонского ямщика...»⁵

*«...песни слышались тише и тише.
Смычок умирал, слабея и теряя
неясные звуки в пустоте воздуха.
Еще слышалось.. что-то похожее
на ропот отдаленного моря и скоро
все стало пусто и глухо.»*

Н.В. Гоголь.

И в творчестве, и в жизни, дважды дал Блок ответ на вопрос Гоголя о музыке и мире. В статье «Дитя Гоголя» (1909г), приведя слова «Если и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?» Блок ответил: «Все кончается, только музыка не умирает».⁴ Позже ответ Блока был иным, вернее сказать, это был ответ жизни поэту, и он более соответствовал трагическому звучанию вопроса.

Спрашивая себя о том, что последует за исчезновением музыки, Гоголь должен был знать ответ, содержащийся в Апокалипсисе, где в главе восемнадцатой описывается гибель мирового города. Она предваряется образом ушедшей музыки: «И голоса играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет..» (Откровение. 18, 22) Сразу же вслед за этим идут слова: «...и не будет уже в тебе никакого художника и никакого художества.»

Возвращаясь к судьбе Александра Блока, трудно отказаться от мысли, что эти строки покрывают смысл случившегося ним в конце жизни. Исчезнувшая музыка, исчезнувшее творчество будто говорят о каком-то индивидуально пережитом Апокалипсисе.

Есть свидетельство, что Блок был склонен придавать наступившей творческой немоте объективный характер.

Как-то, одобрив стихотворение Вильгельма Зоргенфрея, Блок тут же искренне удивился, что «можно оказывается и в наше время писать хорошие стихи.»⁷

Все-таки, в каком-то смысле, Блок оказался прав и настоящее искусство с тех пор не часто посещало нас. Этолучалось только, когда свершался прорыв к «солнцу любви», спасавший от действия декадансного яда.

Во время, когда многие потеряли религию, но еще не потеряли душу, был Платонов, голосом которого словно говорила сама земля. Был Булгаков, когда уходила душа, когда дьявол появился на выигрышном для него фоне Москвы тридцатых годов.

На «Реквиеме» Ахматовой исполнилось слово Гоголя из «Переписки»: «Скорбью ангела загорится русская поэзия».⁸ После этого, кажется, все настоящее в литературе есть один сплошной реквием: русскому интеллигенту («Доктор Живаго»), погибшим в лагерях (Солженицын), погибшим в войну («Жизнь и судьба»), погибшим в пьяном угаре («Москва Петушки»).

В поэзии с тех же пор почти все «кружась исчезает во мгле». Что если она уже попрощалась с нами стихотворением из книги «С последним солнцем»:

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листья...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,
вот-вот погаснешь ты.

И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.

Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.⁴

1978 год.

ПРИМЕЧАНИЯ.

«Вокруг Достоевского.»

Это и есть первопричина тех мнений о характере Достоевского, которые тем легче принять, чем скорее можно сослаться на их распространенность. «Тщеславие и вызывающее высокомерие.. оттолкнули от него литераторов», пишет Мочульский. («Достоевский. Жизнь и творчество». YMCA-PRESS, Париж, 1947, стр. 51.)

Цитировано по книге Юрия Никольского «Тургенев и Достоевский. История одной вражды», София, 1921, Российско болгарское изд-во, стр. 97.

З.А. Трубецкая. «Достоевский и А.П. Filosofova». (публикация С.В. Белова), «Русская литература», 1973, № 3, стр. 117. Цит. по книге: В.М. Захаров. «Проблемы изучения Достоевского», Петрозаводск, 1978, стр. 101-102.

А.И. Савельев. «Воспоминания о Ф.М. Достоевском», «Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников», т.1, М.,1964, стр. 97.

³ Там же, стр. 98.

⁴ Юрий Никольский. «Тургенев и Достоевский. История одной вражды», стр. 98.

«Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников», т.1, стр.98-99.

⁵ См. письмо А.Н. Майкова к П.А. Висковатову в кн. «Достоевский. Полное собрание сочинений», т.18, Л., 1978, стр.191.

⁹ «Достоевский. Полное собрание сочинений», т.18, стр. 180.

¹⁰ Там же.

Н.Ф. Бельчиков. «Достоевский в процессе петрашевцев». М.,1971, изд-во Наука, стр. 82-86.

«Достоевский. Полное собрание сочинений», т.18, стр.322-323.

¹¹ К. Мочульский. «Достоевский. Жизнь и творчество», стр. 110.

«Ф.М. Достоевский. Письма», т.1, М.-Л., 1928, стр. 128-129.

¹² Там же, стр. 173.

¹³ С.Д. Яновский. «Воспоминания о Достоевском». «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников», т.1, стр. 160.

Е. А. Штакеншнейдер. «Из дневника». «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников», т.2, стр. 306.

¹⁴ А.Г. Достоевская. «Воспоминания», М., 1971, стр. 332-333.

¹⁵ Л. Гроссман. «Достоевский», М., 1965, стр. 198.

¹⁶ «Достоевский. Полное собрание сочинений», т. 8, Л. 1974, стр. 280.

Там же, стр. 90.

Там же, стр. 36.

Есть письмо Достоевского к воспитателю пасынка с

упоминанием о своем недостатке: «Если я и раздражителен (что в себе нисколько не оправдываю), то я не обидлив, я сумею заглазить неловкость и обиду, и человек не мучается от меня, потому что видит, что это только наружность, внешность, а зла нет». «Ф.М. Достоевский. Письма», т. 1, стр. 386.

²⁴ Там же, стр. 84.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же.

Цит. по книге Юрия Никольского «Тургенев и Достоевский. История одной вражды», стр. 5.

²⁸ Анненков, тот, оказывается, даже видел экземпляры сборника с рамками. Не вдаваясь в подробное обсуждение этого вопроса, скажем только, что библиографы не нашли номеров сборника с каймой.

²⁹ А.Я. Панаева. «Воспоминания». В книге: «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 141.

³⁰ Там же.

Ю. Никольский. «Тургенев и Достоевский. История одной вражды», стр. 10.

«Ф.М. Достоевский. Письма», т. 2, стр. 30-31.

³² Из дневника А.А. Киреева. «Ф.М. Достоевский. Исследования и материалы». Литературное наследство, т.86, М., 1973, стр.475.

А.А. Фет. «Мои воспоминания». В книге: «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. 1, М., 1955, стр. 79.

В.Н. Захаров. «Факты против легенды.» В книге: «Проблемы изучения Достоевского», Петрозаводск, 1978, стр. 79.

³⁶ Ничего не известно о визитах Достоевского к Григоровичу, зато визиты последнего отражены в письмах Достоевского: «Григорович врал разные рассказы». «Был Григорович, много врал и злословил». «Григорович начал мне рассказывать разные разности, за все тридцать лет вспоминать старое и прочее. Наполовину, конечно, врал, но было и любопытное».

(«Ф.М. Достоевский. Письма», т. 4, стр: 157-158, 162, 164.)

О лживости записного народолюбца Григоровича можно также составить представление по его словам, дошедшим в записи Некрасова: «Ведь если по правде сказать, то я по доброте души только пишу о мужиках с хорошей стороны, а в сущности все они свиньи, ужасные свиньи».

(Корней Чуковский. «Люди и книги шестидесятых годов», Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, стр. 123.

В.Н. Захаров. «Проблемы изучения Достоевского», стр. 92

³⁸ Литературное наследство, т. 83, стр. 17.

³⁹ Полный текст впервые напечатан в книге: Литературное наследство, т. 86, стр. 560-563.

⁴⁰ Там же, стр. 561.

Там же, стр. 562.

⁴² Там же.

⁴³ Там же, стр. 560.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ А.Г. Достоевская. «Воспоминания», тр. 405-406. А.С. Долинин делает предположение, что эти лова принадлежат Д.Мережковскому.

⁴⁶ Литературное наследство, т. 83, стр. 619.

⁴⁷ Там же, стр. 620.

⁴⁸ Литературное наследство, т. 86, стр. 564.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Л.Н.Толстой. Полное собрание сочинений, т. 63, М., 1934, стр.43.

⁵¹ Письмо Страхова к Л.Н. Толстому от 26 ноября 1883 года. Цит. по книге: А.Г. Достоевская. «Воспоминания», стр. 396-397. Безответственно приводить это письмо без соответствующего комментария, как, например, это делает Лев Шестов в одной из книг. Поставить этот «документ» и сходные с ним в подобающий контекст - одна из целей настоящей работы.

⁵² «Ф.М. Достоевский. Письма», т. 4, стр. 159.

⁵³ Из неоконченной повести Некрасова «Каменное сердце», где описывается встреча Достоевского с Белинским. Цит. по книге: Л. Гроссман. «Достоевский», стр. 61.

Достоевский. Полное собрание сочинений, т.21, Л.1980, стр.10.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Там же.

Литературное наследство, т. 86, стр. 498.

⁵⁸ Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 11.

Софья Ковалевская. «Воспоминания детства». В книге: «Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр.347.

⁶⁰ «Ф.М. Достоевский. Письма», т. 1, стр. 142.

Из письма Белинского к Анненкову. «Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников.» т. 1, стр. 134.

Георгий Чулков. «Последнее слово Достоевского о Белинском». В сборнике статей «Достоевский». М., 1928, стр.74-75.

«Ф.М. Достоевский. Письма», т. 1, стр. 103.

«Ф.М. Достоевский. Письма», т. 3, стр. 365.

⁶⁵ «Ф.М. Достоевский. Письма», т. 2, стр. 183.

⁶⁶ Н.Г. Чернышевский. «Мои свидания с Ф.М. Достоевским». «Достоевский в воспоминаниях современников», т.1, стр. 319.

Е.Н. Дрыжакова. «Достоевский и Герцен». «Достоевский. Материалы и исследования», т. 1, Л., 1974, стр. 232.

⁶⁸ Там же.

⁶⁹ «Русские Пропилеи.», т. 4, М., 1917, стр. 146. См. также книгу Черняка «Герцен и Огарев, Некрасов и Чернышевский в споре об огаревском наследстве», Академия, 1932.

⁷⁰ А.Г. Достоевская. «Воспоминания», стр. 167.

Литературное наследство, т. 83, стр. 380.

⁷² Там же, стр. 398.

⁷³ Отчасти побежденная в России, сплетня о «ставрогинском преступлении» Достоевского оказалась более живучей в западном литературоведении.

«Бесы.»

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 12, Л., 1975, стр. 164.

¹ Ю. Стеклов. «М.А. Бакунин, его жизнь и деятельность», т. 3, М.-Л., 1927, стр. 435.

Володин, Корякин, Плиман «Чернышевский или Нечаев?» М., 1976, стр. 248.

С.Г. Нечаев. Катехизис революционера». Цит. по книге: Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 194.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

С.Г.Нечаев. «Народная расправа». Напечатано в книге: «За сто лет». Сборник по истории политических и общественных движений в России. Составитель В.Бурцев. Лондон, 1897, стр.94.

⁷ Вера Засулич. «Воспоминания», М., 1931, стр. 50.

⁸ «За сто лет», стр. 96.

¹⁰ Достоевский. Полное собрание сочинений, т.10, Л.,1974, стр. 96

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 199.

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 312.

¹² Там же, стр. 322.

¹⁴ Там же, стр. 324.

¹⁵ «Чернышевский или Нечаев?», стр. 247.

¹⁶ Письмо П.В. Долгорукова приводится в книге: Н. Эйдельман. «Герцен против самодержавия». М., 1973, стр. 311.

«За сто лет», стр. 93.

¹⁸ «Чернышевский или Нечаев?», стр. 221.

¹⁹ «За сто лет», стр. 45-46.

Э.С. Виленская. «Революционное подполье в России», М., 1965, стр. 398.

«Чернышевский или Нечаев?», стр. 223.

²² Там же.

²³ Н.Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т.1, М. 1939, стр. 8.

«Чернышевский или Нечаев?», стр. 155.

²⁵ Там же.

²⁶ В.О. Ключевский. «Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории». М., 1968, стр. 227-229.

«За сто лет», стр. 97.

²⁸ Там же, стр. 179-180.

²⁹ Там же, стр. 177.

³⁰ Там же.

Там же, стр. 178.

А.И. Герцен. Собрание сочинений, т. 10, М., 1956, стр. 60.

³² Там же, стр. 61.

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 10.

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 185.

³⁶ Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 512.

«После музыки».

Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, М.-Л., 1963, стр. 404-405.

Александр Блок. Записные книжки. М., 1965, стр. 78.

Стихотворение из рассказа Эдгара По «Лигейя». Перевод В.В. Рогова. В книге: Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов. М., 1970, стр. 150.

«Стихи о предметах первой необходимости». Написаны 6-го декабря 1919 года. Александр Блок. Собрание сочинений, т. 3, М.-Л., 1960, стр. 426.

«Продолжение «Стихов о предметах первой необходимости». Написано 10-го декабря 1919 года. Там же.

* Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 10, Л., 1974, стр. 141.

Запись в дневнике Блока от 7-го ноября 1920 года. Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, стр. 379-380.

* Вильгельм Зоргенфрей. «Над Невой». Напечатано в книге: «Русская поэзия 20-го века. Антология русской лирики от символизма до наших дней». Составители И.С. Ежов и Е.И.Шамурин. Издательство Новая Москва, 1925, стр. 275-276.

«По ту сторону стиха».

Николай Гумилев. Собрание сочинений, т. 1, Вашингтон 1962, стр. 72.

² Николай Гумилев. Собрание сочинений, т. 2, Вашингтон 1964, стр. 49.

³ Платон. Сочинения, т. 3, ч. 1, М. 1972, стр. 321.

⁴ Там же.

⁵ Владимир Соловьев. Стихотворения. Л., 1974, стр. 93.

⁶ Платон. Сочинения, т. 3, ч. 1, стр. 321-322.

⁷ Николай Гумилев. Собрание сочинений, т. 2, Вашингтон 1964, стр. 50

⁸ Николай Гумилев. Собрание сочинений, т. 1, Вашингтон 1962, стр. 166.

⁹ «Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура». М., 1955, стр. 46.

«Русский эрос».

Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 20 томах, т. 8, М. 1963, стр. 177. В дальнейшем все цитаты по этому изданию с указанием на том и страницу.

Там же, стр. 178.

Л.Н. Толстой, т. 9, стр. 60.

Л.Н. Толстой, т. 12, стр. 155.

⁵ Этому рассуждению автора под стать небытийственность его героя. Кто он, этот морализирующий убийца? Будь он христианином, он бы не убил. Будь он атеистом, он считал бы естественными отношения между мужчиной и женщиной. Будь он язычником, древняя космогония внушила бы ему почтение к Эросу: вначале был Хаос, затем возник Эрос, и только после него Космос (слово образовано от глагола, значившего «украшать»). У Позднышева могла бы быть зацепка за жизнь, будь он эстетом, но и этого ему не дано, судя по его мысли о музыке: «Она действует ни возвышающим ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом».

⁶ Там же.

Иван Бунин. «Темные аллеи». Париж, 1946, стр. 98.

⁷ Зинаида Гippiус. «Тварь». В сборнике рассказов «Алый меч». СПб., 1906, стр. 346-347.

⁹ Абрам Терц. «Мысли врасплох», Нью-Йорк, 1966, стр. 79.
Тот же образ предосудительного волшебства приходит на ум и
Пастернаку в стихотворении «Вакханалия»:

«Впрочем, что им бесстыжим
Жалость, совесть и страх
Пред живым *чернокнижьем*
В их горячих руках.»

(Борис Пастернак. «Стихотворения и поэмы». М.-Л., 1965, стр.
480.)

¹⁰ А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 3, М. 1957, стр.
12-13.

Овидий. М., 1973, стр. 207.

¹¹ А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 390.

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 2, М., 1956, стр.
446.

А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 1, М., 1956,
стр.444.

¹² М.Ю. Лермонтов. Сочинения. Изд-во Академии наук, т. 4,
М.-Л., 1955, стр. 76-77.

¹³ Там же, стр. 49.

А.И. Куприн. Собрание сочинений, т. М., 1958, стр. 337.

¹⁴ В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957, стр. 373.

Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 109.

Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. «Переписка». Л., 1976, тр. 309.

Там же, стр. 297.

²² Там же, стр. 308.

«И.А. Гончаров в воспоминаниях современников». Л. 1969, тр. 186.

М.Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений, т. 4, М., 1951, стр. 272.

И.С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Сочинения, т. 13, М.-Л., 1967, стр. 13.

²⁴ Там же, стр. 133.

Всеволод Иванов. «Дите». В книге рассказов «Дикие люди». Академия, 1934, стр. 8.

²⁵ С насилия над женщинами начался первый день новой власти. Об этом можно узнать из воспоминаний защитника Зимнего Дворца, поручика Александра Синегуба. Когда штурм закончился и поручика арестовали, он, через некоторое время, услышал пулеметные и винтовочные выстрелы. После этого у него состоялся краткий разговор с конвоиром:

- «Расстреливают», - прервал молчание солдат.

«Кого?» - справился я.

- «Ударниц!»... - и помолчав, добавил: «Ну и бабы, бедовые. Одна пол-роты выдержала. Ребята и натешились! Они у нас. А вот, что отказывается, или больна которая, ту сволочь сейчас к стенке!» Александр Синегуб. «Защита Зимнего Дворца».

Напечатано в «Архиве русской революции» Гессена, т. 4, Берлин 1922, стр. 192.

²⁹ Эдуард Лимонов. «Это я Эдичка». Литературный журнал «Ковчег», № 3, Париж 1979, стр. 41.

³⁰ Иван Бунин. «Автобиографические заметки». В книге: «Под серпом и молотом». Изд-во «Заря», Лондон, Канада, 1975, стр. 106.

Венедикт Ерофеев. «Москва Петушки». YMCA-PRESS, Париж, стр. 25.

³² Там же, стр. 24.

³³ Овидий. «Наука любви». В книге «Овидий», М., 1973, стр. 207.

О «Шуме времени».

Осип Мандельштам. Собрание сочинений, т. 2, Нью-Йорк, 1972, стр. 137. (В дальнейшем все цитаты по этому изданию указанием на том и страницу).

¹ Там же.

² Там же, стр. 83.

К Блоку же ведет ранее созданное стихотворение Мандельштама «Концерт на вокзале». Написанное в год смерти Блока, оно кончается словами:

«На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит».

Начало этого стихотворения: «Нельзя дышать.. может иметь источником слова из последней речи Блока: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем». Вторая строчка стихотворения: «И ни одна звезда не говорит» заставляет вспомнить: «И звезда с звездою говорит», что через Лермонтова опять может привести нас к Блоку. В среде акмеистов было сделано сравнение Блока с Лермонтовым. Как-то Гумилева спросили, почему он был так почитателен с Блоком. Гумилев ответил вопросом на вопрос: «А как бы вы вели себя с живым Лермонтовым?»

Защищая правоту высказанных догадок, сошлемся на самого Блока, в дневниках которого есть такая запись о творчестве Мандельштама: «Его стихи возникают из снов очень своеобразных, лежащих в областях искусства только». (Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, М.-Л., 1963, стр. 371).

⁵ Мандельштам, т. 2, стр. 84.

⁶ Мандельштам, т. 2, стр. 109.

Мандельштам, т. 2, стр. 137.

⁸ Мандельштам, т. 2, стр. 113.

⁹ Мандельштам, т. 2, стр. 95.

¹⁰ Мандельштам, т. 2, стр. 106.

Мандельштам, т. 2, стр. 93.

¹² Мандельштам, т. 2, стр. 104.

¹³ Мандельштам, т. 2, стр. 126.

Мандельштам, т. 2, стр. 225.

¹⁵ Мандельштам, т. 2, стр. 119.

¹⁶ Мандельштам, т. 2, стр. 98.

¹⁷ Там же.

¹⁸ «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих «разложителей» России ни одного нет нелитературного происхождения». В.В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени». В книге: Василий Розанов. «Избранное». Изд-во Нейманис, Западная Германия, 1970, стр.492.

В заключительной главе почтен и другой «ретроград» Константин Леонтьев, названный «первосвященником мороза и государства», что отсылает нас к леонтьевской мысли: «..надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не «гнила». Константин Леонтьев. «Восток, Россия и Славянство». Издание 1885-1886 гг., т. 2, стр. 86.

¹⁹ Мандельштам, т. 2, стр. 145.

²⁰ Мандельштам, т. 2, стр. 143.

Мандельштам, т. 2 стр. 144.

²² Слово «дикие» не должно вводить в заблуждение. В словаре Мандельштама применительно к стихам это слово редкая похвала. В «Четвертой прозе» читаем: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, сумасшедший

нароств». (Мандельштам, т. 2, стр. 220).

Стихи, о которых идет речь, перепечатываются в сборниках Константина Случевского под названием «После казни в Женеве». Это сновидческое стихотворение, несомненно, повлияло на Мандельштама, что можно было бы обнаружить и не только из его признания: «Власть оценок В.В. (В.В. Гиппиуса, учителя, о котором говорится в повествовании А.О.) длится надо мной и посейчас». Приведем третье четверостишие упомянутого стихотворения Случевского:

«Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...»

(К.К. Случевский. «Стихотворения и поэмы». М.-Л., 1962, стр. 104.)

Через шесть лет после «Шума времени» Мандельштам напишет стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», где использует образ из «Казни в Женеве», как некий символ, соединяющий в своем значении пытку, смертную казнь и кошмарное сновидение:

«Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи,
Ни кровавых костей в колесе...

«Будетлянин».

Владимир Маяковский. Собрание сочинений в 13 томах, т. 1, М., 1955, стр. 62. (В дальнейшем все цитаты по этому изданию с указанием на том и страницу).

Александр Архангельский. «Избранное». М., 1946, стр. 45.

Маяковский, т. 1, стр. 366. Не поставил ли Маяковский тем самым футуристов вне искусства, где все имеют предшественников?

⁴ Маяковский, т. 6, стр. 208.

⁵ Борис Пастернак. «Проза». Анн Арбор, 1961, стр. 43.

⁶ Марина Цветаева. «Избранная проза», т. 2, Нью-Йорк, 1979, стр. 10.

⁷ Марина Цветаева. «Избранная проза», т. 1, стр. 395.

⁸ Иван Бунин. «Под серпом и молотом». Лондон, Канада, 1975, стр. 162.

⁹ Там же, стр. 166.

¹⁰ Владислав Ходасевич. «Литературные статьи и воспоминания. Изд-во Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 225.

¹¹ «Маяковский в воспоминаниях современников» М, 1963, стр.103.

¹² Владислав Ходасевич. «Литературные статьи и воспоминания», стр. 223-224.

¹³ Иван Бунин. «Под серпом и молотом», стр. 125.

¹⁴ Там же.

«Маяковский в воспоминаниях современников», стр. 105.

¹⁶ Владислав Ходасевич. «Литературные статьи и воспоминания», стр. 226.

Маяковский, т. 4, стр. 107.

¹⁸ Маяковский, т. 1, стр. 219.

¹⁹ Маяковский, т. 1, стр. 104.

²⁰ Маяковский, т. 2, стр. 21.

Маяковский, «150 000 000», т. 2, стр. 124.

²² Марина Цветаева. «Избранная проза», т.2, стр. 15.

²³ Маяковский, т. 4, стр. 308.

Маяковский, т. 8, стр. 309.

²⁵ Маяковский, т. 2, стр. 145.

²⁶ Маяковский, т. 2, стр. 160.

²⁷ Случай, рассказанный вслед за этим признанием в «Парижских очерках», говорит о том, что футуристы-будетляне действительно оправдывали свое название. Для них музыка исчезла раньше, чем для других: «Бурлюк и я стали

футуристами от отчаяния: просидели весь вечер на концерте Рахманинова в «Благородном собрании» и бежали после «Острова мертвых», негодуя на всю классическую мертвечину». (Маяковский, т. 4, стр. 228).

²⁸ Маяковский, т. 8, стр. 232.

²⁹ Маяковский, «Вредитель», т. 9, стр. 159-160.

³⁰ Маяковский, «Господин народный артист», т. 8, стр. 127.

Маяковский, «Богомольное», т. 7, стр. 49.

³¹ Маяковский, «Император», т. 9, стр. 28.

³⁴ Маяковский, «Барышня и Вулворт», т. 7, стр. 64.

³⁵ Маяковский, «Клоп», т. 11, стр. 248.

³⁶ Маяковский, т. 1, стр. 266.

Маяковский, т. 1, стр. 190.

«Вожди и литература».

Е. Замятин. «Мы». Изд-во Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 185.

² Там же, стр. 183.

³ Там же, стр. 15.

Ленин. «Партийная организация и партийная литература».
Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-ое, т. 12, стр. 105.

⁵ Козьма Прутков. «Проект о введении единомыслия в России».
Сочинения Козьмы Пруткова. М., 1965, стр. 165-166.

⁶ Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 100.

⁷ Там же.

⁸ Там же, стр. 101.

⁹ Выдержки из письма Сталина от 12 декабря 1930 года. Сталин.
Собрание сочинений, т. 13, М., 1951, стр. 27.

¹⁰ Там же, стр. 23.

«Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Газета «Правда» от 21 сентября 1946 года. Перепечатано в
Мичигане в 1978 г., стр. 16.

¹² Там же, стр. 12.

И. Эренбург. «Люди, годы, жизнь». «Новый мир», 1965, № 1,
стр. 123.

А.В. Луначарский. Собрание сочинений, т. 3, М., 1964, стр. 326.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же, стр. 321.

¹⁷ Там же, стр. 328.

¹⁸ А.В. Луначарский. Собрание сочинений, т. 7, стр. 511.

¹⁹ Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита». Ардис, Анн Арбор, стр. 232.

²⁰ А.В. Луначарский. Собрание сочинений, т. 3, стр. 319.

«Луначарский об атеизме и религии». М., 1972, стр. 257.

²² А.В. Луначарский. «Иван в раю». Госиздат, 1920, стр. 24.

«Заживо похороненный».

В.О. Ключевский. «Неопубликованные произведения». М., 1983, изд-во «Наука», стр. 312.

Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Изд-во Академии наук, т. 7, Л., 1951, стр. 270.

Достоевский собирался ответить критикам статьей: «О том, кто здоров и кто сумасшедший...» По рассказу «Бобок» отчасти можно судить, каков был бы ответ: «А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих в

сумасшедшие записали. И каким слогом: «При таком, дескать, самобытном таланте... и вот что под самый конец оказалось... Впрочем, давно уже надо было предвидеть». (Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 21. Л., 1980, стр. 42).

К «слогу» Достоевский отнесся явно снисходительно, если, к примеру, вспомнить рецензию из «Искры» и рецензию Ткачева: «Бесы» оставляют точно такое же крайне тяжелое впечатление, как посещение дома умалишенных... Впечатление до крайности тяжелое и вместе с тем бесполезное, потому что неспециалист ничего ровно не поймет и не уяснит себе в этой белиберде». («Искра», 1873, 21 февраля. Цит. по кн: Достоевский. Полн. собр. соч, т. 12. Л., 1975, стр. 260).

...созерцая собственные внутренности, наблюдая за проявлениями своей личной психологической жизни, г. Достоевский.. воображает, что он изучает действительность..

(Из рецензии П.Н. Ткачева, 1873 г. Цит. по книге: Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 263).

Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного растройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три, в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержавшим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника».

(Из письма Белинского к Гоголю).

⁵ Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 498.

⁶ В.О. Ключевский. «Неопубликованные произведения», стр. 312.

«Смерть Алесандра Блока».

Запись в дневнике от 5-го января 1918 года: «Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, *этическое* на вашем языке) где оно у вас?» Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, М., 1963, т.р. 315.

Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, стр. 313, 505.

Александр Блок. «Записные книжки». М., 1965, стр. 383.

Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, стр. 317.

³ Там же, стр. 326.

⁴ Там же, стр. 330.

Александр Блок. «Записные книжки», стр. 387.

⁵ «Я политически безграмотен и не берусь судить о тактике соглашения между интеллигенцией и большевиками. Но по внутреннему побуждению это будет соглашение музыкальное». 14 января 1918 года.

(Александр Блок. Собрание сочинений, т. 6, стр. 8).

«Чего нельзя отнять у большевиков это их исключительной способности вытраивать быт и уничтожать отдельных людей». 11 июня 1919 года.

(Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, стр. 365).

«Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью». 9 января 1918 года.

(Александр Блок. Собрание сочинений, т. 6, стр. 12).

«Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не nuova), вошь победила весь свет, и это уже свершившееся дело, и все теперь будет меняться в *другую* сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы». 18 апреля 1921 года. (Александр Блок. Собрание сочинений, т. 7, стр. 415-416).

Корней Чуковский. «Последние годы Блока». «Записки мечтателей», № 6, Петербург, 1922, Алконост, стр. 156.

Георгий Иванов. «Петербургские зимы». Нью-Йорк, 1952, изд-во Чехова, стр. 209-210.

Письмо к Н.А. Нолле-Коган от 8 января 1921 года. Александр Блок. Собрание сочинений, т. 8, стр. 532.

Надежда Павлович. «Воспоминания об Александре Блоке», «Прометей», М., 1977, № 11, стр. 272.

«Преданное солнце».

Леонид Андреев. S.O.S. » Напечатано в книге: Л. Андреев. «Перед задачами времени». Бенсон, Вермонт, изд-во Чалидзэ, 1985, стр. 155.

Марина Цветаева. «Избранная проза». Нью-Йорк, 1979, т. 1, стр. 53.

Александр Блок. Собрание сочинений, т. 5, стр. 166.

Запись в дневнике Блока: «Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день». 6-го февраля 1921 года. Александр Блок. Собрание сочинений т. 7, стр. 403.

«Солнце мертвых» — единственная в своем роде книга, потрясшая таких писателей, как Редьярд Киплинг, Томас Манн и Ромен Роллан.

«Теперь я понимаю, через какие ужасы прошла ваша страна. Произведение страшное в своей правдивости».

Редьярд Киплинг.

«...этот кошмарный окутанный в поэтический блеск документ той эпохи, когда красные благодетели вымели Крым железной метлой».

Томас Манн.

Эти и другие отзывы см. в книге: Ю.А. Кутырина. «Иван Сергеевич Шмелев». Париж, 1960.

⁶ Георгий Иванов. «Петербургские зимы». Нью-Йорк, 1952, изд-во Чехова, стр. 210-211.

⁷ Марина Цветаева. «Избранная проза», т. 1, стр. 192.

⁸ Владислав Ходасевич. «Некрополь». YMCA-PRESS, Париж, 1976, стр. 58.

⁹ Там же, стр. 51.

¹⁰ Вересаев. «В.Я. Брюсов». Напечатано в книге: Вересаев. «Невыдуманные рассказы», М., 1968, стр. 438.

Рассказано автору книги Вадимом Паустовским, сыном писателя Константина Паустовского.

¹² Николай Тихонов. «Стихотворения и поэмы». Л., 1981, стр. 91.

В.В. Розанов. «Избранное». Западная Германия, изд-во Нейманис, 1971, стр. 34.

«Перед молчанием».

Письмо к Н.А. Нолле-Коган от 8-го января 1921 года.
Александр Блок. Собрание сочинений, т. 8, стр. 532.

Н.А. Бердяев. «Духи русской революции» В сборнике статей
«Из глубины». YMCA-PRESS, Париж, 1967, стр. 79.

³ Там же, стр. 78.

⁴ Там же, стр. 79.

⁵ Александр Блок. Собрание сочинений, т. 3, стр. 559-560.

⁶ Александр Блок. Собрание сочинений, т. 5, стр. 378.

В.А. Зоргенфрей. «А.А. Блок». В книге: «Александр Блок в
воспоминаниях современников». т. 1, М., 1980, стр. 28.

⁸ Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Изд-во Академии
наук, т. 8, Л., 1952, стр. 409.

Стихотворение принадлежит перу Юрия Кублановского.
Напечатано в книге: Юрий Кублановский. «С последним
солнцем». Париж, 1983, стр. 293.

